



всепутная история в романах



Валерий ТУРИНОВ

ВТОРЖЕНИЕ В МОСКОВИЮ



Всемирная история в романах

Валерий Туринов

Вторжение в Московию

«ВЕЧЕ»

2022

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2)

Туринов В. И.

Вторжение в Московию / В. И. Туринов — «ВЕЧЕ»,
2022 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-3722-9

Весна 1607 года. Проходимец Матюшка вызволен из тюрьмы польскими панами, чтобы сыграть большую роль в истории русской Смуты. Он должен стать новым царевичем Димитрием, а точнее – Лжедмитрием. И пусть прах прежнего Лжедмитрия давно развеялся по ветру, но благодаря Матюшке мёртвый обретёт вторую жизнь, воссоединится со своей супругой Мариной Мнишек и попытается вернуть себе московский трон. В историческом романе Валерия Туринова детально отражены известные события Смутного времени: появление Лжедмитрия II в мае 1607 года на окраине Московского государства; политический союз нового самозванца с ярким авантюристом, донским атаманом Иваном Заруцким; осада Троице-Сергиева монастыря литовским гетманом Петром Сапегой и встреча его со знаменитым старцем Иринархом в Борисоглебском монастыре. Далее – вторжение в 1609 году польского короля Сигизмунда III в пределы Московской Руси и осада польскими войсками Смоленска, посольство короля в Тушинский лагерь.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-3722-9

© Туринов В. И., 2022
© ВЕЧЕ, 2022

Содержание

Об авторе	6
Глава 1. Незнакомец	7
Глава 2. Стародуб	13
Глава 3. Заруцкий	31
Глава 4. Поход и первые неудачи	59
Глава 5. Рожинский	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

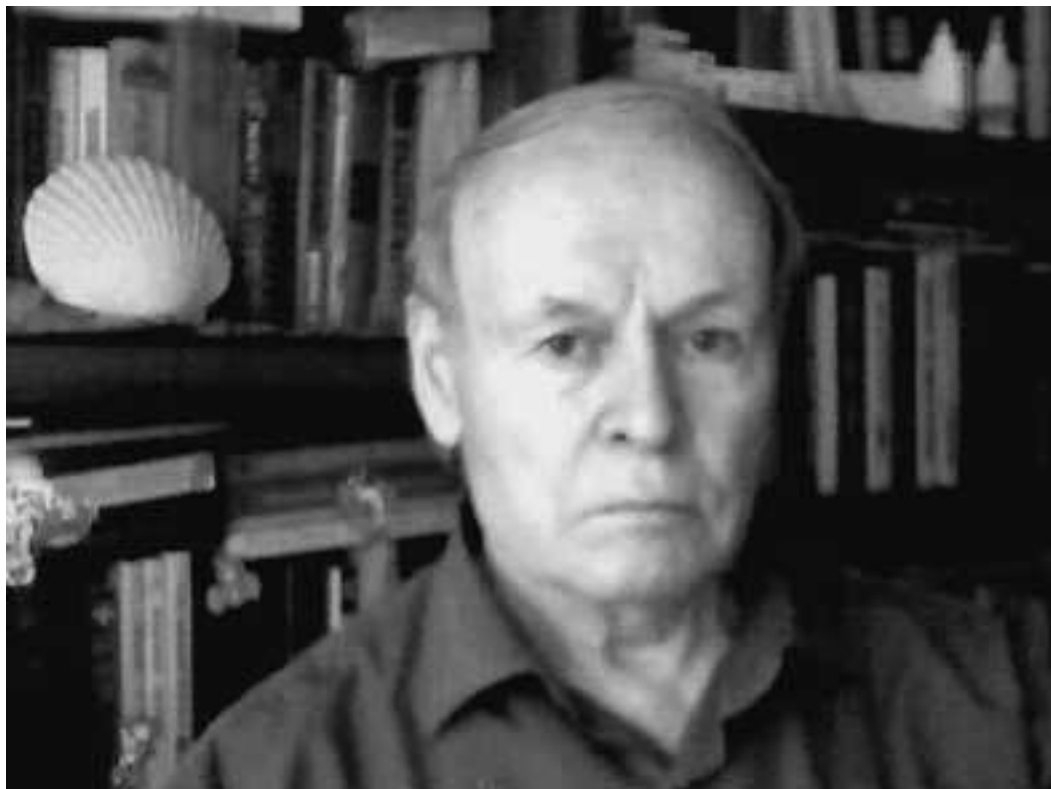
Валерий Туринов

Вторжение в Московию

© Туринов В. И., 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

* * *



Валерий Игнатьевич Туринов

Об авторе

Валерий Игнатьевич Туринов родился и вырос в Сибири, в Кемеровской области. После службы в армии поступил в МИСиС, окончил его в 1969 году по специальности «полупроводниковые приборы» и был распределен на работу в город Ригу. Проработав там три года, поступил в аспиранту МИСиС на кафедру физики полупроводников. После окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1977 году получил учёную степень к.т.н. и был распределён на работу научным сотрудником в НПП «Исток» в городе Фрязино Московской области. Казалось бы, никакого отношения к истории и к литературе всё это не имеет, но каждый автор приходит в литературу своим путём, зачастую очень извилистым.

Начиная со студенчества, работая в геологических экспедициях летом на каникулах, Валерий Игнатьевич объездил Сибирь и Дальний Восток. В экспедициях вёл дневники, постепенно оттачивая стиль художественных приёмов, а сами поездки пробудили интерес к изучению истории не только Сибири, но истории государства Российского, а затем – и к прошлому Европы.

Особенный интерес вызывали XVI–XVII вв. – эпоха становления национальных европейских государств и связанные с этим войны. Вот почему осенью, зимой и весной Валерий Игнатьевич, как правило, пропадал в РГБ (Российской государственной библиотеке), собирал по крупицам в источниках судьбы людей, оставивших заметный след в той эпохе, но по какой-то причине малоизвестных сейчас, а то и вообще забытых.

К числу таких исторических личностей относится и француз Понтус де ла Гарди, родом из провинции Лангедок на юге Франции. Он дослужился до звания фельдмаршала в Швеции, прожил яркую, насыщенную событиями жизнь. Этот человек заслуживал того, чтобы создать роман о нём!

Сбором материалов в РГБ дело не ограничилось. Изучая жизнь Понтуса де ла Гарди, Валерий Игнатьевич делал выписки из документов РИБ (Русской исторической библиотеки), из АИ («Актов исторических»), ДАИ («Дополнений к Актам историческим»), Дворцовых разрядов, материалов РИО (Русского исторического общества), а также из многих литературно-исторических сборников, как, например, «Исторический вестник» за 25 лет.

Пришлось проделать большую работу, чтобы иметь более широкое представление об эпохе, а также о других известных исторических личностях, повлиявших на судьбу Понтуса де ла Гарди, или, говоря словами одного из героев, «сделавших» его человеком.

Эта деятельность, помимо основной работы по профилю образования, отнимала много времени и сил. Поэтому докторскую диссертацию в родном МИСиС Валерий Игнатьевич защитил поздно, в 2004 году, с присуждением учёной степени д.ф.-м.н., имея к тому времени уже свыше сотни научных публикаций и десяток патентов по специальности.

Избранная библиография автора (романы):

«На краю государевой земли»,
«Фельдмаршал»,
«Василевс»,
«Вторжение в Московию»,
«Смутные годы»,
«Преодоление».

К 400-летию Смуты

Глава 1. Незнакомец

На Волыни, среди отлогих глинистых холмов, заросших дубовыми лесами, по живописной долине течёт небольшая тихая речушка Горынь, вся утопая летом в зелени прелестной. Крушина задумчиво повесила там голову над берегом крутым и глинистым, и граб растёт, берёзы смотрятся и белизной пленяют. Повсюду всходами глаз радуют крестьянские поля. А запах липы!.. Ох, как дурманит он голову и взвинчивает аж до слёз!.. И здесь же, в верховьях этой речушки, недалеко от буковой рощицы, на берегу сутулятся и колесом вращает мельница. Она уже стара, пошла вся мхом и скромно умирает. А чуть поодаль, вон там, на крохотном бугре, уютится православная церквушка, на что-то существует, и через дверь её, всегда открытую, летят напевы дьякона. Он тянет что-то басом. И колокол её исправно бьёт здесь по утрам, хотя не многие спешат к ней богомольцы здешние. И тут же, по соседству с ней, ветшают башни кляштора «нищенствующих» кармелитов¹. Похоже, он характером терпимый и мирно уживается с церквушкой православной на этих щедрых землях. А ещё дальше от реки, на пологом холме, громоздится роскошный замок с толстыми стенами из ракушечника. Рядком идут бойницы у него, а выше – окон череда, ещё выше – крыша с черепицей красною. Невольно тянет взор она, суля приют и сытость усталым путникам с дороги. Но тот же кляштор уже не верит в сказки эти. Стоит поодаль он, как нищий, боится к пану подойти.

Из окон замка отлично видна река, кляштор и все окрестности. И часто можно увидеть тут, как поутру, покинув свой ночлег убогий, спешат в мир божий кармелиты «босоногие»: за подаванием, за пропитанием торопятся.

Это замок Вишневец, родовое гнездо князей Корибут-Вишневецких, ведущих своё начало от великого литовского князя Ольгерда Гедиминовича. Его сын, князь Дмитрий, получил прозвище Корибут. Правнук же, князь Солтан, заложил этот замок и стал писаться князем Вишневецким, по этим землям, богатым вишнёвыми садами.

Сейчас же, в тот день, с которого мы начинаем повествование, дубовая решётка на воротах замка опущена. Но сами подъёмные ворота открыты. Похоже, здесь ждут гостей известных.

1607 год от Рождества Христова. Конец мая. Вокруг замка под холмом цветут вишнёвые сады. На краткий миг вновь посетил цвет розовый вот эту свою землю. Теплынь-тепло. Верхние окна замка, где находятся жилые господские помещения, распахнуты настежь: навстречу солнцу и низовому ветерку. Он тянет влагой, с реки прохладной. Она недалеко, видна из окон замка, играет бликами под солнцем.

У одного из окон верхнего этажа замка стоит мужчина, одетый в длинный, яркого цвета кафтан. Он среднего роста, модные усы повисли скобкой вниз. Нос у него прямой, высокий лоб, в нём чувствуется родовитость. Безвольный подбородок и плечи, щуплые, нескромно выдают, что он не ведал в жизни тяжёлого труда. Это князь Адам Вишневецкий, хозяин замка. Он смотрит на дорогу, что вьётся в сторону кляштора... Вон выполз из обители ещё монах... Один... Поплёлся по дороге... Хм! Как он заспался-то! Едва бредёт и спотыкается... А вот наконец-то, в награду за ожидание, на дороге, что ведёт к замку от реки, появилась крытая двуконная повозка. Рядом с ней скачут пахолики², на козлах кнутом помахивает кучер, пыль серебрится под колёсами. Повозка в гору катится легко и плавно приседает на рессорах.

– Ну, кажется, едут! – воскликнул князь Адам, отходя от окна и обращаясь к князю Александру, своему отцу, который сидел в глубине горницы за обеденным столом.

Князь Александр порывисто поднялся с кресла, хотел было подойти к окну, чтобы выглянуть наружу, но передумал, остановился рядом с сыном... Он оказался выше его ростом и

¹ Кляштор – католический монастырь; кармелиты – «нищенствующий» католический орден.

² Пахолики – слуги.

стройнее сложен. Мужчиной он был видным, седовласым. Но и он тоже, заметно было, не отличался особенной физической силой, хотя и брал уроки фехтования на саблях у какого-то заезжего итальянца... «Драчун попался, ловкий, как сарацин!³» – говаривал обычно он об учителе. И в его словах сквозил пафос, что вот, мол, с каким приходится сражаться, не уступая ни в чём ему... Но князь Адам-то знал, что итальянец тот вгоняет его в пот, точно какого-то барбоса... Сейчас же он, князь Александр, приехал специально сюда из своего дальнего поместья. Князь Адам пригласил лишь его, да ещё Урсулу, урождённую пани Мнишек, супругу князя Константина, своего двоюродного брата. Поскольку дело, затеянное им вновь, было слишком деликатным, чтобы о нём знало много лиц, хотя бы и близких. Но дамы, Урсула и Александра, жена князя Адама, а также старая княгиня, сразу уединились на женской половине замка. И там они занялись детьми и разговорами о балах в Кракове, где князья Огинские, дальние родственники Вишневецких, стали устраивать их что-то уж больно часто... «И на какие же это доходы?! Откуда у них такие?»... Да, вот это мучило их больше всего, пожалуй, даже больше, чем судьба их родственников, затерявшихся где-то в далёкой Московии.

Тем временем повозка подкатила к замку и остановилась. И сразу заголосил, запел сигнальный рожок в руках пахолика.

– Иди встречай! – заторопил князь Адам своего дворецкого, затянутого в кафтан из зелёного сукна, с белыми оборками.

И тот, послушный слуга, наклонив голову, повернулся и вышел из горницы.

Князь Александр отошёл назад к столу и опустился в кресло.

А там, у входа в замок, перед гостями заскрипела и вверх поднялась дубовая решётка. Вторые ворота, в глубине проезжей башни, уже открыты и приглашали гостей войти. Повозка въехала на просторный двор и остановилась. И тут же с коней посыпались пахолики, распахнули у повозки дверцу и почтительно вытянулись.

Во дворе забежали, засуетились слуги Вишневецких вокруг повозки и коней.

Князь Адам вышел на галерею верхнего яруса замка и, когда из повозки вылез высокий ростом мужчина, махнул ему рукой и крикнул: «Поднимайся – не медли!»

Заметил он также, что из повозки выскочил ещё какой-то мужчина в длинном плаще, укутанный в него до самых пят, и с чёрным капюшоном на голове, скрывающим его лицо. Он вернулся назад в горницу, прошёл к столу и сел в кресло напротив князя Александра. Взглянув на отца, он ответил с наигранно скучающим видом на его безмолвный вопрос: «Сейчас будут...» Хотя его подмывало вскочить и броситься навстречу гостям от желания что-нибудь сделать, подтолкнуть, ускорить те планы, что сложились у него в голове.

Появились слуги, внесли ещё два обеденных прибора и поставили на стол. Затем они принесли закуску и вино. Серебряные кубки уже давно блестили позолотой на середине стола, подле массивных бронзовых канделябров.

Вошёл дворецкий, за ним порог горницы переступил тот самый высокий ростом мужчина. Это был полковник Николай Меховецкий. Следом появился и его спутник. Но тот, войдя, так и не снял с головы капюшон.

Князь Адам подал знак дворецкому. И тот вышел из горницы вместе со всеми слугами. Вот только после этого незнакомец откинул капюшон и капризно поморщился от солнечного света, вдруг ярко осветившего комнату через настежь распахнутые окна.

И Меховецкий, тот самый полковник Меховецкий, прослывший на польских землях грубияном, а проще говоря, нахалом и смельчаком, как-то странно, предупредительно и быстро, подскочил к окну и закрыл его. Но лучи солнца пробились всё же сквозь цветные витражи, и комната заиграла причудливыми красками, и в ней стало интимно, словно на тайной сходке заговорщиков.

³ Название, принятое античными писателями по отношению к арабскому населению Северо-Западной Аравии.

Теперь незнакомец снял и плащ, небрежно бросил его на спинку кресла.

– Господа, прошу, садитесь! – пригласил князь Адам полковника и его спутника за стол, когда они неуклюже, но всё же поздоровались за руку друг с другом. Затем он хлопнул в ладоши, и в горницу вошёл всё тот же зелёный кафтан, его слуга.

Дворецкий налил всем вина, отступил в сторону и вытянулся, готовый и дальше услужить по первому знаку хозяина.

Князь Александр переглянулся с сыном, сделал жест рукой, мол, я начну, и обратился к гостям.

– Господа, вы знаете зачем мы собрались, – повёл он плавно холёным торсом в их сторону. – Поэтому, не откладывая, сразу приступим к делу... Извольте, кто начнёт?... Господа, господа! – повысил он голос, чтобы привлечь внимание гостей, когда незнакомец стал бесцеремонно и шумно придвигать своё кресло ближе к столу и потянулся рукой к закуске.

Но всё те же лучи света просочились через неплотно прикрытое окно и упали на лицо незнакомца, невыразительное и серое, с мясистым носом и крупным подбородком, прошлись по нему, не отразив ничего в его больших, навывкате, глазах. И он с чего-то передумал, оставил закуску в покое, хотя и продолжал всё так же шарить голодным взглядом по столу.

Старый князь неодобрительно кашлянул... «Не затем же его пригласили, чтобы кормить, да ещё развлекать беседой!» – с возмущением подумал он.

И чтобы разговорить незнакомца, он обратился к нему.

– Пан Иван, кажется, не так ли? – спросил он его.

Незнакомец же, взяв без приглашения кубок вина, что стоял перед ним, выпил, закивал головой: «Нет, нет!.. Матвей! Можно просто – Матюшка!» Затем он принялся за курицу, которую придвинул к нему дворецкий. Раздирая её грязными руками на куски, он стал заталкивать их в рот и задвигал челюстью так, будто нарочно хотел шокировать своими манерами хозяев замка. Заметив, что добился этого, он промышчал зачем-то: «Ага!.. Ага!» – и раскрыл ещё шире свои и так большие глаза.

– Не соизволит ли пан Иван рассказать немного о себе, – продолжил дальше старый князь так, как будто не слышал его имени. – Чтобы мы лучше знали пана, с кем будем иметь дело...

Но незнакомец, промышчав ещё что-то, замахал рукой, мол, подожди, дай поесть. Покончив с курицей, он вытер засаленные руки прямо о скатерть, роскошную и дорогую.

Дворецкий, шокированный от такой простоты, чуть пошатнулся, готовый упасть в обморок. Беззвучно пошевелив губами, собираясь что-то сказать, он смолчал, как отменно вышколенный слуга.

– Учитель я, учитель! – наконец-то выпалил незнакомец и показал пальцем на самого себя. – В Пропойске был учителем у юной панночки! Учил её словесности!..

– И научил, похоже, не тому! Ха-ха-ха! – расхохотался князь Адам.

– Да, мировой отмерил ему знатный срок, – флегматично заметил Меховецкий.

– Ну что же! – жёстко процедил сквозь зубы князь Александр. – Как видно, ты хочешь опять сидеть!

Кровь прилила к его лицу. Он начал сердиться.

– Нет, нет, постойте! – вскричал незнакомец. Он испугался, но сразу же нашёлся и быстро заговорил: – Панове, ведь сами же знаете, как это бывает! И из-за этого в тюрьму?! Да чёрт возьми! Не было того, не было!

– А попадья?! – вперил в него весёлые глаза князь Адам.

– О-о! Господа, та попадья соблазнит сама кого угодно!.. Бес в юбке!..

– Мы вытащили из тюрьмы тебя, за это ты у нас в долгу! – не стал больше тянуть с этим делом князь Адам. – Учительство, пойми, не для тебя! Пан Меховецкий говорил с тобой уже, и ты всё знаешь... Ну что, Матюшка! Как – согласен?

– Да что вы, господа! – развязно промолвил незнакомец и по-свойски пыхнул в лицо старому князю. Но тут же он спохватился, опять принял смиренный вид, поднялся из-за стола и прошёлся по горнице. Увидев свою физиономию в витраже окна, он кокетливо поправил падающие на лоб большими завитками чёрные кудри.

Князь Александр нахмурил брови.

– Вот наглец! – тихо проговорил он и косо глянул на Меховецкого: мол, кого ты притащил-то...

– А вспомни первого Димитрия! Он тоже вольно вёл себя! – стал оправдываться Меховецкий, хотя и был весьма доволен своим протеже.

Они уже готовы были вот-вот и обвинять в чём-то друг друга.

Князь Адам, взглянув на их насупленные лица, усмехнулся, азартно потёр руки и подмигнул Меховецкому: дескать, молодец, устроил всё здорово... «Где же он отыскал-то его! – подумал он. – Такого-то вот нахала! Хм!» – весело хмыкнул он от мысли, что незнакомец нравится ему.

Они, князь Александр и князь Адам, отец и сын, разительно отличались один от другого. Князь Адам, оставив уже давно виленских иезуитов, с чего-то полюбил вдруг православных. И та церквушка православная, у реки, была построена им для убогих. А князь Александр ходил в католиках всё так же. И из-за религии они жарко спорили, порой у них до ссоры доходило. Но если дело касалось выгоды или грозили беды им, то оставляли они свои церковные распри тотчас же.

А незнакомец, о котором они совсем уже и забыли, выглянув в окно, заметил в саду, среди вишен, прогуливающихся дам... «Вон и панночка! Ох как хороша!.. Вот мне бы прижать её!» – мелькнуло у него непроизвольно.

– Матюшка, иди сюда! – окликнул князь Адам его и, не дожидаясь, когда он подойдёт, стал развивать перед ним свой план; он вынашивал его уже несколько месяцев. – Итак, слушай внимательно! То дело, о котором тебе говорил пан Меховецкий, начнём мы сами! А остальное, поверь, придёт к тебе само собой! Народ подарит тебе всё: хоромы, вино, меха и войско от беды!..

Но незнакомец, казалось, не слышал его, пошёл опять вольно разгуливать по горнице и заглядывать во все её закоулки, как бродячий кот. Он был угловатый и странно двигался. Сначала он резко дергался вперёд и тут же останавливался, как будто не знал, куда и зачем идёт... Затем начиналось опять всё то же... Но вот он задержался на какое-то мгновение на одном месте, настороженно скосил большие выпуклые глаза и посмотрел на князя Адама. Он подозревал, всё ещё подозревал, что его здесь разыгрывают. И он решил подыграть им.

– Но чтобы девок там хватало!

Меховецкий оторвался на секунду от блюда и поднял руки, как бы сдаваясь на милость довода такого: «Всё будет – как изволишь!»

«О господи, какой же идиот!» – мелькнуло в голове у бедного князя Александра.

– Зато покорный, – тихо промолвил князь Адам, догадавшись о его мыслях, и снова весело хмыкнул: «Хм!»

А незнакомец походил ещё некоторое время по горнице, теперь уже раздумывая о чём-то. Затем он уселся опять в кресло и помолчал, глядя на Вишневецких.

– Ну что же, паны, давай ударим по рукам! – решился он, видимо, на что-то и даже протянул руку старому князю.

Князь Александр поиграл желваками на бледных скулах от этой очередной его выходки и заговорил, резко, чеканя каждое слово:

– Вот что я скажу тебе, молодчик! Забудь привычки грязные вот эти! – покрутил он неопределённо рукой в воздухе. – Ты роль Димитрия заучишь! В Московии он жив в сердцах! На этом, Матюшка, всё!

От возмущения он даже легонько стукнул своей сухонькой ладошкой по столу.

– Пан Александр, я подучу его, подучу! Непременно подучу! – поспешно заверил Меховецкий старого князя, подобострастно кивая головой.

Незнакомец, заметив это, посмотрел на него так, будто открыл что-то для себя вот только что, и холодно спросил его:

– И куда же мы сейчас? – Он понял, что полковник всего лишь пешка в руках хозяев вот этого замка, вот этих князей Вишневецких.

– Сейчас?.. Сейчас отправимся в Путивль. Оттуда уйдёшь уже один в Стародуб. За кого выдать себя – знаешь! Подбери попутчиков, чтоб было с кем время коротать...

Прощаясь с незнакомцем, князь Адам с чувством пожал ему руку: твёрдую, но потную, липкую.

Незнакомец подошёл проститься и к старому князю Александру. Тот не двигался с места и с раздражением ожидал, когда он покинет горницу, не настроенный к сердечным проводам с подозрительной личностью. Но когда тот подошёл к нему с какими-то странными телодвижениями, как пёс в стае перед вожаком, и протянул ему несмело руку, он, на секунду замешкавшись, вяло, но всё же сунул ему свою ладошку, как тряпочку какую-то.

Первым из горницы вышел Меховецкий. А незнакомец, прежде чем покинуть её, надел свой плащ и опять набросил ловким движением на голову глухой капюшон кармелита так, словно он уже давно был привычным для него.

Князь Адам, провожая гостей, снова выбежал на галерею и посмотрел вниз. Там, во дворе, уже толпились у повозки слуги, сидели в сёдлах пахолики, подле лошадей прохаживался кучер, лениво похлопывая кнутом по голенищу сапога.

Меховецкий вышел из парадной двери внизу господского дома и залез в повозку. За ним следом туда же юркнул незнакомец. Кучер уселся на козлы, тронул лошадей, и повозка мягко выкатилась через узкие ворота замка.

Когда князь Адам вернулся в горницу, князь Александр сосредоточенно жевал что-то. Увидев его, он покачал головой и слегка ссутулился над столом, как будто всё ещё сопротивлялся чему-то. Затем он раздумчиво промолвил:

– М-да!.. У него же нет бородавки!

– Зато она есть у Молчанова! – ухмыльнулся князь Адам. Он был настроен серьёзно. Теперь он поставил вот на него, на этого незнакомца. Игрок он был азартный.

В горницу вошла его супруга, княгиня Александра, дочь литовского коронного гетмана⁴ Карла Ходкевича, среднего роста миловидная женщина. Вместе с ней вошли старая княгиня и Урсула, старшая сестра московской царицы Марины Мнишек. Сейчас Урсула приехала сюда, в родовой замок Вишневецких, одна, без детей. Она оставила их дома, в поместье, на попечении прислуги. За ними вошла и горничная с девицей-подростком, той, которую увидел из окна незнакомец в вишнёвом саду, дочерью князя Адама и Александры.

– Ну, господа, как – договорились? – томным голосом спросила Урсула мужчин, немножко нараспев растягивая слова. Она, высокая и стройная, совсем не походила на свою царственную сестру ни ростом, ни сложением. Как и умом особенным она не блистала тоже. Всё это досталось младшей сестре. – Ведь не намерены же вы оставлять всё так, как есть? Не правда ли, господа? Как же они там, бедняжки, в краю суровом? Как нищие, тепла не видят, солнца! Среди варваров и дикарей попробуйте-ка сами пожить!

Она приложила платочек к сухим глазам и поджала губы, стараясь выдать из себя хотя бы слезинку. Но нет, не получилось. Тогда она снова обратилась всё с тем же к князю Адаму:

– Адам, ну ты-то ведь человек решительный!

⁴ Гетман – военачальник в Польско-Литовском государстве.

– Нельзя, нельзя так, господа! – упрекнула мужчин по-матерински строго и старая княгиня.

Дамы знали о визите Николая Меховецкого. Догадывались они также, что мужчины что-то затевают для освобождения пана Юрия Мнишки с Мариной, князя Константина Вишневецкого и послов из дальней ссылки, из Ярославля, куда их отправил Василий Шуйский, когда взойшёл на трон после убийства царя Димитрия. Но князь Александр и князь Адам хранили в тайне то, что они затеяли, как ни хотелось поведать им самим о том. Они боялись молвы, огласки. Это непременно навредило бы пленникам, родным.

С тем же к князю Адаму подступила и его супруга. Обычно сдержанная, она не вмешивалась в его дела.

И князь Адам энергично запротестовал:

– Дамы, дамы! Мы только об этом и ломаем головы день и ночь! Поймите же! – и, разряжая обстановку, он рассмеялся и приказал дворецкому: – Зови всех к столу!

Глава 2. Стародуб

За городские стены Путивля вышли три путника. Поправив за спиной котомки, они побрели по дороге, что вела в Стародуб. Путь их был не близким, но они надеялись, что их нагонит какой-нибудь поселянин на телеге и хотя бы немного попутно подвезёт.

Один из них, Гринька, по прозвищу Горлан, плотно сбитый коротышка с жиденькой бородкой, пощипанной в какой-то драке, еле плёлся в тесных сапогах. Он снял их в Путивле с гулящего, когда тот загнулся с перепою в кабаке. И вот теперь он мучился, все ноги поистёр. Затем, сплюнув, он снял сапоги, связал их верёвкой, перекинул через плечо, засеменил, лишь замелькали пятки грязные, взбивая клубы пыли над дорогой, и песню затянул. Да унылую какую-то, без слов: то остановится, вздохнёт, а то мурлычет всё то же дальше.

Вторым путником был Матюшка, наш незнакомец. Третьим, их спутником, оказался писарь Алексей, рыжий и худой, и тоже не в годках. Он шёл, молчал, на все вопросы односложно отвечал: «А-а!.. Что?.. Да!..» На этом заканчивался разговор с ним, как будто с немым или глухим.

В крохотной деревеньке на Десне, всего из двух дворов, их приютил один хозяин на ночь. Сарай, избы, крытые соломой, навесы и амбары. Как пьяное перекосилось прясло, ворота хлипкие, колодезный журавль вверх тянет шею тощую свою – всё говорило здесь, что дряхлость поселилась в деревеньке. Вокруг же буйно разрослась зелёно-грязная трава, а подле изб в пыли возились дети. Хозяин, с квадратным торсом мужик Николка, прищипнул на мальцов. Тотчас они исчезли с глаз, как дикие, пугливые щенята. Здесь, в одной из махоньких избёнок, наши друзья и заночевали. Наутро Николка проводил их до Десны, нашёл спрятанный в кустах челнок и перевёз их на другой берег.

– Вон там, – показал он рукой вперёд, в сторону дороги с разбитой тележной колеёй, – вёрст через десяток, в урочище, Сенька шалит с дружками. Днём-то опасно. А по темноте-то совсем жутко. Как пить дать, на них выйдете. Подкарауливают съезжих-то у оврагов, не то что пеших...

Горлан, поджав губы, ворохнул воинственно плечами:

– Побьём, если их будет даже вдвое больше!

И посмотрел на Матюшку, мол, так ли я говорю.

Но тот даже не обернулся к нему. И Горлан зажался, замолчал.

– Ну-ну, храбрец! – бросил Николка, смерив ироническим взглядом его короткую фигуру, и залез в челнок. Взяв в руки весло, он оттолкнул челнок от берега и поплыл обратно к себе, на свою сторону. Ни разу не оглянулся он на ходоков, которых оставил на пустынном берегу, перед неизвестной дорогой через большой и тёмный лес.

Они пошли. Всё было как обычно: теплынь стояла, и солнце пробивалось сквозь густую крону, ложилось пятнами под ноги на дорогу. Но скверно было сегодня на душе у них: им отравил дорогу поселянин рассказами о шаловливых... Перед урочищем они отдохнули, поели, затем пошли дальше. И даже Горлан притих, уже не мурлыкал свои песни без слов и лишь подтягивал штаны ежеминутно, враз отощав с чего-то. Но пыль взбивал он и сегодня босыми тёмными ногами. Алёшка же по своему обыкновению молчал, но молчал заметно по-иному. Один лишь Матюшка, вроде бы, не изменился.

Вот так и шли они. Вечерело, а их путь всё не кончался.

– Николка, видно, с вёрстами маленько промахнулся, – не выдержал и забурчал Гринька. – А может, сбились мы с дороги?.. Идём совсем уж не туда. Тут деревенькой и не пахнет...

Николка указал им, где можно было найти ночлег и выспаться у его приятеля в сарае. Он советовал пристать на ночь к тому и не искать себе неприятности у костра в глухом лесу.

А Матюшка глядел на своих спутников и ухмылялся в свои колючие усы. Они кудрявились у него большими завитками жёсткими.

Шли, шли они и уже мечтали о ночлеге, как вдруг бесшумно вышли три фигуры на дорогу, им путь загородили. Какие-то бездомные, бродяги, свой брат... «Бить будут!..» Вот это Гринька точно знал и сразу же в кусты подался.

– Стой, куда ты!.. – рявкнул Матюшка вслед ему.

И Гринька замер, как будто к матушке-земле прилип, и в плечи голову втянул... «Бить будут!» – опять защекотала его всё та же мыслишка где-то по низу живота... Но нет, всё тихо, никто не тащит за волосы его, не бьёт и не орёт... Он обернулся и увидел, что его попутчики уверенно отмахиваются от бродяг. Тогда он заспешил к ним неторопливо. И радостно взирал он со стороны, как ловко орудует Глазастый одной лишь палкой... «И справиться он сможет без меня!..» Вот одного достал Глазастый здорово. И завертелся тот на месте, схватился за голову разбитую и тут же дунул зайцем по дороге, прочь от настырных товарищей своих... И писарь тоже оказался неплохим бойцом: подбил он глаз грабителю второму. А третий не стал ждать, когда очередь дойдёт и до него: исчез в кустах, куда вот только что хотел сбежать и Гринька.

– Вот так мы их – воров, грабителей! – прокричал вслед им Гринька и пустился в пляску на дороге, воинственно размахивая чужими, в заплатках сапогами.

И даже писарь, молчун Алёшка, взвизгнул, пронзительно и тонко, и начал выделять в пыли коленца.

– Ладно, хватит – пошли! – остановил их Матюшка, взирая равнодушно на них, своих случайных спутников, оборванных завязтых простаков... «Ну точно кармелиты!..»

Друзья взбодрились после драки и теперь уже смело двинулись через тёмный лес.

– Убивцы!.. Канальи! – провожая их, ещё долго неслись крики из глуши урмана и эхом отзывались на лесной дороге. – Ужо пойдёте тут!.. Тогда и поквитаемся!.. Собаки!.. Голодранцы!..

На ночь они устроились всё в том же лесу, у костра, уже уверенные, что больше никто не посмеет и пальцем тронуть их.

Горит костёр. Тепло. Матюшка щедро накормил попутчиков своих: из тех запасов, что добыл в деревне у Николки. И Гринька, поев, сразу же сомлел, клюнул носом, свалился тут же, захрапел. А Матюшка ещё долго сидел с Алёшкой у огня и говорил, а тот, «Немой», молчал обычным делом. Так время шло у них... Матюшка выговорился весь и стал пустой. И вот, скучая, решил он поиграть с Алёшкой.

– Ты знаешь, – тихо шепнул он писарю, – я – Андрей Нагой, дядя царя Димитрия, – сверкнули в ночи большие глаза его. Свет от костра пятном рассёк его широкий подбородок. И по лесу как будто шорох пробежал, и кто-то дико там захохотал: «Ха-ха-ха!..» Похоже, филин пугает, на всех наводит страх...

Алёшка вздрогнул. Он не был слабаком, но был напуган с малых лет рассказами о ведьмах, леших и водяных. Он верил, что ночью те выползают из своих нор под пятницу, как раз сейчас, вот в эту ночь, когда они оказались тут, вот в этом «Чёртовом» лесу... И погнал же их кто-то именно в такую пору идти пешком на Стародуб, к тому же через этот окаянный лес. Ведь про него им здешние старожилы говорили: мол, не ночуйте на дороге, пройдите лес тот засветло. Но кто же знал, что их тут стерегут бродяги. Как видно, не боятся те сказок о здешних лесах. И сами-то они, подравшись, забыли о тех советах сведущих людей.

– А почто ты молод так? – подозрительно глянул он на родича царя. – Димитрий-то твоих годков.

– Отец мой, покойник Фёдор Фёдорович, в боярстве уже, на старости, женился второй раз... И я родился в тот же год, как и царевич.

– А-а! – промолвил Алёшка и заворочался на тонкой подстилке, почувствовав, как тянет холодком земля, подставил к огню другой, замёрзший бок. – А на меня ты положишься – могила! – с чувством произнёс он и снова вздрогнул отчего-то...

А на следующий день, на День Всех Святых, в святую пятницу, на десятой неделе после Святой Пасхи, они вступили в Стародуб. Шёл год 7115-й от Сотворения мира, по календарю которого жила тогда святая Русь, отсчитывая начало года с первого сентября в пику всей Европе католической. На Сёмин день, на день Симеона Столпника, всё начиналось в Московии в ту пору.

Они подошли к городским воротам Стародуба, когда уже вовсю разгулялся день. Но стражники у ворот, похоже, не скучая, шныряли взглядами по лицам входящих, по одежке и котомкам... А что несут?.. Вон там кого-то остановили, котомку отобрали, его тряхнули самого...

– Вор! Держи собаку!..

А тот сорвался с их вялых рук, метнулся, как заяц запетлял по узкой улочке, вмиг скрылся между избёнок, прилипших друг к другу тесно.

– Сёдня пятница, – запыхтел Гринька рядом со своими друзьями, не обращая внимания на стражников и воров, обычный шум у городских ворот. – Кажись, ночлежка забита на субботу... Ох, леший бы её побрал, жизнь нашу бродяжью! – стал ворчать он, прихрамывая всё в тех же тесных сапогах; их он натянул вот только что у города, перед воротами.

Поплутав по улочкам, кривым и грязным, они добрались до площади, когда день пошёл уже на убыль и уже не так остервенело крутилась толкучка на базаре. Но с криками всё так же приставали торгаши ко всем, расхваливая свой товар напропалую...

Они двинулись по толпе, протискиваясь, на всё глазели. Их голод гнал, нужна была харчевня, ночлежка тоже. У Гриньки в кармане была одна лишь мелочишка, как будто кот туда наплакал. Алёшка из скромности богатством тоже не хвалился. И они с надеждой поглядывали на своего товарища: того-то нищим никак не назовёшь. И ждали от него, что он накормит их. А если поставит ещё и по чарке крепкой, то уж тогда пошли бы за ним в огонь и в воду. Ну, в воду ещё может быть, умели плавать, вся жизнь их проходила в барахтанье на мели; в огонь подумали бы и прежде дали бы попробовать ему...

– О-о, вот что-то есть! – воскликнул Матюшка, увидев ветхий сруб, похожий на кабак.

Корчма стояла на посаде, а в городе, в базарной толчее, господствовал царёв кабак. Когда-то, лет пять назад, ещё при Годунове, он был отдан кому-то на откуп. Сейчас же никто не платил с него в казну кабацких денег: всё уходило в наживу воеводам. Но кабак оказался, на удивление, закрыт. И они двинулись на посад.

Ну вот наконец-то и сама корчма: просторный двор, осёдланные кони томятся под навесом. А вон спальная изба, напротив – кабак. И тут же к ним прилипла церквушка древняя, а там на перекладине висят позеленевшие колокольца... Вот в них ударил пономарь, он бьёт, и голос их, унылый, слабый, едва перекрывает лишь этот постоялый дворик.

Алёшка и Гринька поспешно закрестились на церквушку под удары колоколов негромких. Их спутник тоже положил крест на себя, но неумело, не поднимая глаз на церквушку древнюю. Затем он, тряхнув чёрными кудрями, словно подбадривал себя, стал подниматься по крыльцу. Оно было высокое, давно уже покосилось, перила сгнили, вот-вот, казалось, упадут, если налечь на них неосторожно...

Они вошли в кабак. Полно народа. Всё те же лица: ярыжки⁵, нищие, бродяги, казаки... Столы растрескались, покрылись грязью, скоблили их, как видно было, десятка два лет назад, ещё при царе Грозном... Герои наши прошли подальше в темноту, вглубь кабака, уселись там

⁵ Ерыга, ярыжка, ярыжник – пьяница, шатун, мошенник, беспутный.

за стол, под ними шатко заходили лавки... Гудели ноги, и горло пересохло, хотелось чем-нибудь смочить его.

Кабатчик подал сразу же им пиво и молча заглянул в лицо Матюшке: в нём по одежке опознав того, который денежкой богат, за всех заплатит.

Матюшка подтёр нос кулаком и жестом показал ему на стол: «Пожрать, покруче и живее! Что ты как дохлый!.. Пся кровь!»

Кабатчик хитро хмыкнул: «Хм!.. Всё будет, как изволит пан!»... И вёртко крутанулся он, и словно ветром его сдуло.

Дневной свет струился слабо сквозь оконце. В кабаке, в угарном мраке, двигались какие-то, как призраки, живые тени.

Тут кабатчик вынырнул откуда-то из темноты. Перед ними появилось по лепёшке. Кинул он на стол ещё кусок от окорока, сразу же исчез опять в хмельном чаду.

Они поели и запили мясо пивом. Матюшка вытер руки о свой поношенный кафтан, сыто икнул на весь кабак и показал своим товарищам на дверь: «Пошли!..» Он поднялся с лавки, небрежно бросил кабатчику затёртый алтынец и неторопливо прошёл к выходу, подвинув рукой кого-то, вставшего ему на пути.

Они вышли с постоялого двора и направились опять к базару, по улочкам пустым и тесным.

– Ну ты, Матюшка, бога-ач! – завистливо пропел высоким тенорком бродяга Гринька. – Вот повезло-то нам! – затараторил он, с подобострастным блеском в голодных глазах. – Откуда столь серебра нахапал, а?! Богат – как царь!

Матюшка остановился возле какого-то переулка. Остановились и они. И он посмотрел на них колючим взглядом. Впервые они увидели в его глазах что-то людское... Он же постоял молча, как будто о чём-то размышляя, затем заговорил, глядя на Горлана:

– Да, Гринька, ты прав – я царь Димитрий! Но о том – молчок! Не то! – с усмешкой погрозил он ему пальцем; глаза же его вновь покрылись холодком, опять в них засквозило безразличие и что-то тёмное. – Ну как – теперь-то догадались?!

От этих его слов Алёшка побледнел. Он искренне был набожен и верил в праведность людей на свете. И отдал бы он не мешкая свою жизнь за вот такого царя, каким он представлял его себе. Он думал, что царь где-то там, в Москве, а он, оказывается, здесь, рядом с ним, как тот же Иисус с апостолами. Чем протоиерей Фома, который жил когда-то по соседству с Алёшкой, смутил его пустую голову ещё с пеленок: что тот, мол, всё видит, поможет в горе и в ненастье и злую руку отведёт...

– Устою на пытках даже я! – весь задрожал он, как в бреду. – Но не выдам я царя! Вот те крест! – выхватил он нательник из-под рваной рубашки. – Целую я на том его! – припал он к нему губами и дальше горячо забормотал: «Ты волен осудить и голову мне снять, коль заворю!»

И Гринька, бродяга, последний голодранец, которого жизнь учила, учила, но так ничему не научила, измучилась, оставила в покое, тоже выпалил испуганно и громко:

– Клянусь быть верным до конца!

– Ох и люблю же я вас, щенков! – с чувством воскликнул самозванный Андрей Нагой и обнял их.

Но его глаза стеклянным взором взирали без теплоты на них, на мир, ему чужой, убогий и неполный. И он, похлопав их отечески по плечам, потащил за собой опять в базарную толкучку.

* * *

Несколько дней они шлялись по посаду и в самом городе, от безделья глазели на всё подряд. К ночи же, когда становилось опасно на тёмных улочках от воров, грабителей лихих,

они приходили на постоянный двор. За ночлег, еду и кабацкое питье – за всё щедро платил Матюшка, крепко прикармливая к себе своих случайных дружков-приятелей.

Однажды, на седьмой день по их приходе в Стародуб, на посаде появились скоморохи, ватагой шумной и крикливой. Вожатый заходил перед зеваками с медведем, держа на цепи его. Медведь же, худой, с подтянутыми скулами, весь замордованный, глядел со страхом на него, хозяина, мучителя, который выбил из него уже давно его звериную породу. И он покорно исполнял все прихоти его: ходил на задних лапах и как ватный кувырчался. И если бы умел он изъясняться, то извинения просил бы у зевак за всю породу зверскую свою... Слепой старец возложил на гусли свои тонкие персты, едва коснулся их... И струны что-то ответили ему, от нежности заныв, пропели и сразу, как в испуге, замолчали... А он, подняв персты над ними, замершими, жаждущими ласки, устремил свои незрячие глаза куда-то в пустоту, поверх голов людей... Но вот руки слепца упали на струны, на тело тёплое его потасканной штуковины, и дьявольские страсти заиграли... Он начал изощряться, щипать и бить по струнам, отбрасывать их прочь, подальше в сторону, и вниз, до унижения, чтобы гудели, плакали и выли, пощады, милости просили... Гусляр, бродячий песнопевец, был стар. Но струны его пели, вещали молодым о том, что жизнь от сладострастия пьяна и ей ли умирать...

И тут же ловкий жилистый горбун паясничал в наряде шутовском Петрушки. На голове его торчал цветной колпак, весь в колокольчиках, и одежонка пёстрой была. Он сильно хромал и был смешон, но ещё больше жалок. Кривлялся, прыгал, показывал он фокусы замысловатые. И вдруг он подскочил к Матюшке и колесом прошёлся перед ним. Затем он ухватился за пуговицу на его кафтане и дёрнул слегка её, расхохотался громко:

– Ха-ха-ха!.. Тебя я знаю! Ты щедр, как царь! Вот и меня побалуи денежкой серебряной из гамалейки⁶ или вина скорее мне налей-ка!.. Заметив его резкое движение, он отскочил от него. Но острых глазёнок не опустил он перед ним, раз ловко кувыркнулся через голову: горб, безобразный, в воздухе мелькнул...

– Я – Петрушка-молодец! – пронзительно понеслось по площади. – Меня выпорол отец! За то, что к девицам ходил, вино сладкое я пил! На мне платице худое, да к тому же и чужое!..

Дудки яростно свистели, скоморохи веселили честной народ, толпа напирала на них, слышался хохот. Под удары колотушки прохаживался вожак, водил по кругу медведя с шапкой в зубах и заставлял его кланяться, собирал копейки и полушки...

Когда скоморохи уgomонились и суета вокруг них стала затихать, Матюшка подошёл к их старшему, тому вожатому с медведем, оттащил его в сторону и пристал к нему.

– Продай шута! Я дам знатную цену! – звякнул он тугим мешочком с серебром перед физиономией опешившего жоака.

Эти деньги были князей Вишневецких. И он не дорожил ими, транжирил, щедро кормил, поил своих дружков-попутчиков, ярыжек угощал, пьянчужек в кабаке и нищих, бродяг не забывал. При этом он приговаривал на ухо им: «Вот-вот придёт царь Димитрий и вас пожалует ещё дарами!..» И посад, он слышал уже об этом, заговорил, пока ещё втихую, опять о царе Димитрии. Его здесь ещё помнили хорошо, как и в Путивле.

Вожак раздумывал недолго: они ударили по рукам. Всего за десять рублей, такова была цена плохонькой лошадки, продал он горбуна, своего товарища по ремеслу. Так Матюшка в тот памятный для него день завёл своего первого холопа и всё никак не мог наглядеться на него. Горб безобразный казался ему прелестным, рост малый не смущал его. А то, что злой – на то причины есть: шут ядовитым, как поганка, должен быть. Держал он впроголодь его, чтоб ум острее был и не терял бы ловкость он, живот не портил бы горбатую осанку... Петрушка Кошелев, так звали шута, уже не удивлялся в жизни ничему, зажил за новым хозяином своим: уж если купил – пускай и кормит...

⁶ Гамалейка – мешочек, сумка, кошелёк, обычно носимый на шее.

А самозванный Андрей Нагой нашёл себе на посаде двор, снял там избу, точнее угол, стал жить свободно. Днём он пил вино с хозяином двора Нефёдкой, мелким торговцем на посаде, на его летней повалуше⁷, срубленной на подклети. В жару прохладно было в ней. А по вечерам его, пьяного, из кабака приводили Гринька и Алёшка. Но даже пьяным он держал язык на привязи, по себе отлично зная, что чем сильнее жажда, тем злее будет питься хмельная влага. Ни разу не проговорился он больше о том, о чём лишь однажды открылся, как ни пытались они выведать ещё что-нибудь о нём: Алёшка – млея от него, кумира своего, а Гриньке то наказал воевода. Тот припугнул его под страхом смерти, когда и до него дошли слухи о странном Нефёдкином постояльце.

Андрей Нагой, а Матюшка вжился в эту роль уже, шатался по Стародубу, кутил, порой скандалил, дрался. О нём все бабы судачили по городку, украдкой девки косили глазами на него. А мужики качали головами, глядя на его беспечное житьё-бытьё: «Вот дал же Бог кому-то всё!»

Завистливо подумывал и Гринька о своём дружке, счастливчике. А тот нашёл себе игрушку: с шутком частенько веселился.

– Давай, давай, Петька! Ещё разок! – сквозь взрывы хохота слышалось теперь.

И шут потел, кривлялся, хозяину старался угодить.

Так прошёл месяц, как заявили наши приятели в сей городок на окраине земли Московской. А уже поползли слухи о том, что царь Димитрий здесь, в Стародубе, среди них живёт и ходит, скрывается до времени, вот-вот объявится. И на город опустилась странная лихорадка. Все ждали с нетерпением царя Димитрия, но никто не видел его никогда и не знал, каков же он из себя обличьем.

Приятелям Матюшки казалось, что они знали о нём всё. Так думал и тот же Меховецкий. Но как же ошибались-то они! Не знали, не догадывались они, что он прятал Талмуд⁸ на дне своей грязной котомки, но чаще баловался чернокнижием⁹. Он верил в числа. Свою судьбу он просчитал уже на много лет вперёд и знал, что ему помогут потусторонние силы совершить в жизни что-то необычное. Так вытекало из тех странных, каббалистических чисел¹⁰... И он решил ввериться тем силам. От Сёмина дня он отсчитал назад число каббалистическое 77. К нему он прибавил ещё три дня, по 13-м числам те силы обычно отдыхают, воскресный день есть и у них тоже, прикинул – и у него вышло, что он должен был вступить в Стародуб именно в тот день, когда они пришли, в День Всех Святых, как раз в пятницу на десятой неделе после Пасхи... Да, да, те силы распяли Его на Пасху, в пятницу!.. А он, Матюшка, начнёт восхождение с неё... Всё получалось так, как говорила каббала. Задержка хотя бы на один день сдвигала все числа, и его судьба уходила совсем в иные миры, те числа рассыпались... Да, это он просчитал уже, и не один раз, и каждый раз смущался... Вот связка времен – и она ждёт его!.. К тем десяти неделям, 70 дням от Пасхи, он прибавил свои 77 дней, отпущенных ему до срока: вновь получилось каббалистическое число, 21 неделя. Он разделил это число на семь и получил три недели, «их недели», сил потусторонних... Год на Руси шёл тогда 7115-й от Сотворения мира, и в этих числах, в сумме их, ему мерещились всё те же две семёрки.

Он лихорадочно заходил по избёнке, голый по пояс. Вспотев от волнения, он схватил со стола кувшин с пивом, припал к нему: большой кадык затрепетал на его шее. Он осушил кувшин, но не напился, сжал пальцы в кулаки, чтобы унять дрожь в теле... Да, да, всё верно, правильно, он не ошибся, и всё идёт в развязке... «Какой же?!» – заработал в горячке его мозг,

⁷ Повалуша – неотапливаемое помещение, холодная горница (на подклети) различного назначения; подклеть – нижний этаж жилой или хозяйственной постройки.

⁸ После смерти Лжедмитрия II в его вещах нашли Талмуд. По-видимому, он увлекался и чернокнижием.

⁹ Чернокнижие – знание приёмов магии, колдовства по книгам, содержащим в себе каббалистические знаки, формулы заклинаний, заговоров, магические рецепты и т. д.

¹⁰ Каббала – еврейское религиозно-мистическое учение, основанное на толковании Священного Писания – Ветхого Завета.

толкал куда-то. И он, не выдержав томления в груди, схватил кафтан, напялил его прямо на голое тело, выскочил во двор и бросился бегом в кабак: скорей залить огонь внутри, тот жёг его.

И в этот день он здорово напился. С утра же на следующий день, как раз в пятницу, он валялся всё ещё пьяным, когда во двор Нефёдки вломилась кучка стародубских властных людей, с толпой посадских и городских.

– Андрей, Андрей, вставай! Ты что заспался-то! – стал тормошить его Нефёдка.

Он испугался огромной толпы, она уже ломала его ограду, втискивалась в его убогий дворик. Шум, грохот, пока ещё приглушённый. Ропот и сопение чем-то рассерженных людей... И всё тут, у него, у Нефёдки!..

– Нефёдка, выходи! – застучал воевода палкой в дверь, запертую изнутри. – И постояльца давай сюда!.. Да живо! Не то раскатаем по брёвнышкам твою избёнку!..

– Да чичас! – отозвался Нефёдка, ознобливо задёргался, расталкивая своего пьяного постояльца. – Вставай, вставай, ты!.. – выругался он в сердцах. – Вот напасть-то! За что мне Бог послал такого! – забормотал он, потащил его с лежака, не в силах приподнять тяжёлое тело.

Матюшка свалился на пол, мягко, как подушка.

– Да вставай же ты, дерьмо собачье! – засуетился вокруг него Нефёдка, затормошил, затем подскочил к кадушке. Зачерпнув ковшиком воды, он плеснул её в лицо ему.

Матюшка зафыркал, стал плевать: «Хр-р!.. Тьфу, тьфу! Фыр-р-р!» – и потянулся рукой к нему: «Я те рыло сверну, вонючка!»...

Он поднялся с трудом на ноги, повёл бессмысленным взглядом по тесной избёнке, заметил Нефёдку, тупо всмотрелся в него, пытаясь что-то сообразить: кто он и что здесь происходит...

– А-а! – промычал он и вспомнил, как вчера опять набрался сверх меры в кабаке.

Избёнка же, бедная избёнка уже ходила ходуном под напористыми сильными плечами. А дверь скрипела и скрипела... И вдруг раздался ужасный треск. Дубовая задвижка лопнула, дверь распахнулась настежь, и в неё, в пустой проём, свалились кучей у порога три здоровенных мужика, с пыхтением и бранью: «Собака!..»

А со двора донёсся всё тот же повелительный и резкий голос: «Ташите сюда... этого Нагого!»

Матюшка протрезвел от страха быстрее, чем от холодной воды, хотел было бежать куда-то, но не мог ступить и шага. Он понял, что влип, и его ноги приросли к полу.

А мужики уже тут как тут, подле него, умело заломили ему руки, нагнули низко шею и потащили во двор.

– Да хватит же, больно! – взвыл он, взирая, как перед самым носом у него полощутся вонючие мужицкие порты.

Но мужики отпустили его только во дворе. И он, ворохнув плечами, оправил на себе помятый кафтан, увидел перед собой огромную толпу, а впереди неё городских «сильников».

Вчерашний боярский сынишко¹¹, из здешних, городской, его он поил вечером в кабаке, был тоже здесь. Он стоял, понутив голову, возле Гриньки... «Да, точно, выдал он!»

Приставы тем временем вытащили вперёд Алёшку и Гриньку и толкнули их к нему, лицом же к воеводе и толпе, к этой ужасной толпе. Алёшка жалобно глянул на него и отвернулся. А Гринька глаз не поднимал. Несколько дней назад он проболтался об их странном приятеле, кормильце и добродетеле. Из зависти к нему он выложил всё, по пьянке, кому-то в кабаке и не мог даже вспомнить кому. И вот сейчас он понял, что слух о том дошёл и до его родного Путивля, если от крутого тамошнего воеводы Григория Шаховского здесь появились «с доездом» сыщики: «сыскное дело» завести.

¹¹ Боярский сын – представитель низшего разряда служилых «по отечеству», т. е. по происхождению, людей.

«И дознаются!» – похолодело всё внутри у него, когда он заметил за воеводой палача Ерёмку, тот притащился сюда с подручными... «Вон инструмент уже!» – углядел он у них жаровню, огромные щипцы, колодки...

Подручные спешат, уже прилаживают козлы для пытки наскоро, но ремесло поставлено умело.

– Вот ты, Нагой, болтаешь здесь, что, дескать, царь Димитрий жив и вскоре опять придёт сюда! – заговорил воевода, заложив руки за широкий кушак, подтянул большой живот, запыхтел, отдуваясь от жары.

Она, жара, накрыла городок и степь. Леса горели в этот зной, парили редкие озера за городскими стенами.

– Да вот заждались что-то мы его! – выкрикнул кабацкий голова.

Тут откуда-то вдруг появился дьяк Пахомка, забежал подле воеводы и стал толковать ему.

– Князь Лука, а князь Лука, ты не трогай вот его, вот его-то! – показал он на Матюшку.

Его, дьяка Пахомку из Москвы, Матюшка тоже припоил, тот стал ручным, его радетелем.

– Придёт, придёт, друзья... – залепетал Матюшка. Он испугался натиска толпы и воеводы, мелких служилых, боярских детей и казаков.

– Ну как вот вам такое, а?! И мы же оказались в дураках! Послушайте, послушайте его! – бросил воевода в толпу, и та заволновалась сразу же. – Так где же он?! – вскричал он, взвизывая ленивых и зевак.

– А мы же верили в его наследный трон! – раздался пронзительный вопль какого-то юнца.

– Он, как сатана, всем милость обещал! – вдруг заголосила какая-то баба, худая, тёмная, и стала рвать на себе волосы. И её грязное платье, в лохмотьях, полетело на землю, обнажая всю её срамоту...

«Ну так и есть – юродивая! На Русь попал, святую!» – с сарказмом пронеслось в голове у Матюшки. Сердце у него дрогнуло, и сразу стало легче: опять всё то же, он снова был дома, где всё по-прежнему и всё знакомо...

– А ты-то знаешь – когда же явится наш царь?! – съехидничал воевода, приставив к лицу Алёшки кулак. – Отвечай, вонючее гусиное перо!

Алёшка струсил, и изрядно, но гордость всё ещё брала в нём верх, себя топтать не позволяла, выкручивалась, как умела.

– Ох, как же ты, боярин, нетерпелив! – умышленно польстил он воеводе, хотя тот был всего лишь мелкий дворянин.

– А ты, питух, спесив! И не по месту! Сейчас вот зададут тебе!.. – даже не заметил воевода, по тупости своей, лесть тонкую Алёшки и обернулся к стрельцам, которых толпа приволокла сюда за собой. – Схватить его!

И стрельцы тут же подскочили к приятелям, схватили Алёшку, подтащили к козлам: «Держи, Ерёмка, твоя работа!» – со смехом бросили его на руки подручным палача. Те на лету словили писаря и ловко разложили на козлах его, Алёшку, кудрявого и славного, всего лишь молчуна, к тому же безобидного пьянчужку.

– Пытать, пока не надумает сказать: почто царь не идёт и медлит, шлёт вести устные одни! – с сарказмом проворчал воевода, тряхнул отвисшим животом. – Хе-хе!

– Государь, откройся им, – стоя рядом с Матюшкой, зашептал Гринька и выбил зубами дробь, когда увидел, как с писаря сдёрнули рубашку и порты, чуть-чуть на козлах потянули, точь-в-точь как шкуру с какого-то коняги, чтоб задубить и просушить.

Матюшка сглотнул тугую слюну и прошелестел сухим языком своему кабацкому дружку: «Донесёшь – на кол пойдёшь, паршивый пёс!»

Гринька всхлипнул, зажал было рот, но его губы сами собой тряско запрыгали: «О-о, государь, молю – прости!...»

– Давай, Ерёмка, давай! – крикнул весёлый воевода палачу. – Пусть скажет, мерзавец, нам речь! Он писарь, его слова давно летают по кабакам! А ну-ка, сними кожу с него и псам отдай! А потроха – вон той убогой! – пыхнул он смешком в клочковатую бороду; его заплывшие глазки сверкнули по сторонам, остановились на юродивой, которую стрельцы вытаскивали со двора. – Вот пусть она и погадает: когда же к нам явится Димитрий, сам царь! А не собак кабацких зачем-то присылает! Ха-ха! Начинай, Ерёмка, попарь его: по заднице, по спинке!..

Ерёмка принялся за дело: бич свистнул... Алёшка взвизгнул, всем телом изогнулся. Но крепко, узлами, притянули его руки к толстому бревну.

– Да что ты гладишь-то его! – рассердился воевода, вынул кулак из-за широкого кушака и погрозил им Ерёмке.

Ерёмка, презрительно сплюнув себе под ноги, прошёлся снова бичом по спине Алёшки. И покраснела она теперь, как от стыда... Вот тут уже Алёшка заверещал, заёрзал руками, не в силах дотянуться до спины, заполыхавшей огнём.

– Я всё скажу – только уймитесь! – запричитал он, обнимая шершавое и тёплое бревно. – О Николай Чудотворец, помоги!.. Какие все вы дураки!.. Хы-хы! Помыслить сами не хотите! Хы-хы!..

– Так видел ты царя или нет?! – спросил воевода его.

Алёшка всхлипнул, послушно закивал головой.

– И как же ты признал в нём царя, а?!

– По осанке... Осанка царская его меня смущает...

– Ха-ха! – глупо хохотнул кто-то в толпе.

Воевода сдвинул брови и повёл взглядом по головам, и все бездумно замолчали снова. А он стал медленно поворачиваться и вот, когда повернулся, махнул рукой палачам, чтобы оставили писаря, и показал пальцем на Матюшку: «Теперь беритесь за Нагого!»

Но в этот момент кликуша вырвалась из рук стрельцов. Те волокли её со двора, грязную, нагую, а она, не пьяная, орала: «Здесь, здесь дух его! Сейчас увидите его! Он, сатана, пришёл до вас! А вы!.. Тьфу, тьфу!» – вдруг плюнула она в лицо одному стрельцу. Плевков попал бедняге прямо в глаз. Тот выругался, зашарил сослепу руками, ловя её... Она же вырвалась из рук другого стрельца и кинулась назад, во двор, всё с тем же воплем: «Сатана-а!..» И там она уткнулась в толпу, глазевшую, как расправляется палач с кабацкими ярыжками, забегала среди людей, со страстью вглядываясь им в лица... Но вот она остановилась перед каким-то зевакой: тот пялился во все глаза на то, как бич со свистом режет плоть несчастного Алёшки... И она, жеманно подмигнув ему, хихикнула и голым задом бесстыдно повела. Затем вскинула она вверх руку, показывая неизвестно куда-то, и опять заголосила: «Он!.. Он – глядите!»

– Да выкиньте же её! – закричал воевода стрельцам. – Афонька, а ну, марш до этой суки! Юродивых нам только не хватало!

И стрельцы забегали в толпе, ловя кликушу. А та пряталась там, орала: «Сгоришь, сгоришь!.. В аду тебе пылать!..»

Матюшка затрясся от страха, пот ледяными струйками, вот в эту летнюю жару, зашекотал ложбинку на его спине. И она, спина, сейчас же подло зачесалась как раз в том самом месте, где всё ещё проступали следы побоев, когда его тащили в тюрьму и били кнутом и кулаками, затем прошлись по пяткам батогами.

Всё дальнейшее мелькнуло как в каком-то чаду: в руке у него сама собой оказалась какая-то палка. И он, защищаясь, замахнулся ею на стрельцов, на их руки, уже протянутые к нему. Из его груди вырвался клокочущий звук, в нём страх смешался со злобой, и сердце задрожало... Вскрик загнанного в угол, прижатого к стене, пса обозлённого: «А-а!» – ворвался во двор и перерос в осмысленную речь: «Ах! Вам неймётся! Я – Димитрий, царь, и вас отменно палкой проучу! Собаки! А ну, кто смел – ударь!..»

И вот сквозь пелену в глазах заметил он, как отшатнулись от него какие-то кривые тени. Испуг и страх на лицах сменились удивлением, и там же робость появилась. А кто-то уже готов был кланяться ему... Но рожа воеводы всё так же светится ухмылкой: он за здорово живёшь и на полушку не поверит никому.

«Он всех опасней! – прочно отложилось в память у него. – Хм! Получилось!»

Сердце у него сжалось в тугой комок, и жаром покрылся лоб, уже побелевший было. И он стал понемногу оживать, хотя похмелье сидело ещё в нём крепко, дрожали мелкой дрожью руки, ноги...

– Ну что – он?! – толкнул воевода плечом стоявшего рядом с ним одного незнакомца, из тех, что были из Путивля. Толкнул он его легонько всей своей массой, но тот закачался и чуть было не упал.

«Сыщик, с доездом!.. Прознает!» – догадался Матюшка и снова стал холодеть.

И, наверно, этот толчок воеводы сказался на незнакомце. Тот промямлил неуверенно и робко: «Да вроде бы похож» – и сразу опустил глаза, чтобы не видеть лица Матюшки.

А Матюшка заметил, как у воеводы забежали по сторонам глазки. Тот мгновенно уловил помрачение умов вокруг себя, и лстивая улыбка расползлась по его лицу. Вот только что готов был он сожрать его, топтал и собирался отдать палачу.

– Прости нас, глупых, государь! – как сквозь ватой забитые уши донеслось до него от воеводы: тот открывал рот, но звуки глохли в шуме, которым был наполнен двор.

– Не разглядели мы тебя, твои холопы! – вдруг взвился над толпой чей-то крик и затерялся под ветхой крышей Нефёдкиной избёнки. – Тебе служить мы верно будем!..

«Ах, негодяй, Меховецкий-то, оказался прав!» – мелькнула слабая улыбка на губах Матюшки. Страх стал медленно выходить из него. Но ещё настороженно взирал он на толпу, ту самую, плевавшую в него ещё минуту назад. И какая-то мысль, подспудная, стала проситься у него наружу. Вот, казалось, мелькнуло что-то важное, что только что открылось ему.

«Да что же это?» – старался он ухватить что-то, но не давалось то и ускользало... «А-а! Вон в чём дело!» – с облегчением ворохнул он плечами и вновь почувствовал, что опять двигается свободно, без ложного смущения.

– Ну что стоите?! Где мои хоромы?! – приказал он, придав повелительность своему голосу, всё ещё дрожащему, уже уверенный, что всё будет так, как он скажет, как захочет. – Не здесь же мне торчать! – мотнул он головой на жалкую избёнку Нефёдки.

– Государь, государь, и я с тобой! – послышался вскрик Гриньки, которого уже куда-то волокли стрельцы. Его лицо, беспомощное и жалкое, мелькнуло в толпе и навсегда исчезло для Матюшки.

А писарь? Того сняли с бревна, оттащили к амбару, положили там у стенки на дощаной пол. И тут же над ним захлопотали какие-то сердобольные бабы.

А толпа оттеснила от Матюшки воеводу, боярских детей и посланников, приехавших из Путивля. Она пронесла его из посада к городским воротам и там, в крепости, опустила на воеводский двор, где уже суетился и сам воевода, освобождая ему хоромную избу на высокой подклети. Откуда-то здесь появились уже и казаки, стрельцы стоят рядами, толпа ломает шапку перед ним, сам воевода робко ходит.

* * *

Прошёл месяц, как царь Димитрий, бывший Матюшка, а он уже стал привыкать к своему новому имени, поселился на дворе воеводы. Он оброс прислугой, холопов появилась уйма. Все услужить ему были готовы. Откуда-то и дьяки появились, и все смышлёные: приказы строят по образцу Москвы, указы, грамоты мелькают. Сидят подьячие и перьями гусиными скрипят по целым дням.

«Вот чёрт!» Не знал Матюшка, что государево дело построено так сложно... Да и имя своё он, Матвейка от рождения, уже начал забывать. Тем более что ни Гриньки, ни Алёшки после того дня уже ни разу не видел он, и ничто не напоминало ему больше о прошлых его днях, о прошлой жизни. Да было ли вообще прошлое у какого-то Матюшки?.. На самого себя, на того из прошлого, он сам смотрел со стороны и с удивлением, как на чужого.

«Димитрий, государь и царь!» – теперь во всякий день в ушах его звучало и звучало, к чему-то новому и необычному он привыкал.

Но прошлое не всё легко стиралось. По-прежнему язык его любил солёное и крепкое словцо. Парчовый кафтан, хрустящий от новизны, в плечах ему, казалось, стеснял, был узок. И он частенько надевал своё старьё, а стоптанные сапоги привычней были, не жали ноги. Всё было у него теперь: двор царский, хоромы, приказы, казна немалая скопилась уже, полк казаков, стрельцы. Детей боярских он видел на своём дворе, и воеводы из ближайших городов ударили поклонами на верность ему, великому князю Димитрию.

– Поклоны бьют, а вот с казной воруют! – ворчал по целым дням его дворцовый дьяк Пахомка, тот самый, которого он припоил уже давно к себе.

Но что-то, ему казалось, остановилось. Он это чувствовал. Однако в свои тайные книжки он больше не заглядывал, припрятал их подальше: боялся, а вдруг попадут кому-нибудь в руки.

Опять каббалистическое число подкралось неминуемо. До Сёмина дня, до срока, осталось ровно 33 дня. Вот завтра будет тот день... «И что-нибудь случится непременно!..» Настал тот день, тот срок. С утра стояла неважная погода. Она будто сулила какие-то ненастья ему: шёл мелкий нудный дождик, предвестник пока ещё не близких холодов и серого осеннего начала.

До полудня он принял в своих хоромаш двух дьяков, стоявших во главе приказов. Их завели вот только что. Приказ Разрядный был у них, а другой – Большой казны. И с думой пока неважно выходило: ни одного боярина не было у него. А тех, кого он назвал своими боярами, в Москве бы не пустили и на порог к посадскому купцу.

Но к полудню ветер разогнал на небе тучи, и выглянуло солнце, дорогу подсушило. Опять запрыгали возле конюшни воробьи, клюют овёс, дерутся, суются всюду и шустрят.

Конюхи вывели лошадей из стойловых конюшен во двор царских хором. Царь Димитрий собрался прогуляться верхом за городские стены, развлечься на охоте в лесу, соседнем с городком. Там царские егеря заметили стадо кабанов. Да, да, у него появились уже и егеря. Их подарил тот недоверчивый воевода, вымаливая прощение с нижайшими поклонами.

Димитрий вышел из хором одетый в поношенный кафтан, удобный для выездов в поле. И тусклые сапожки сидели на нём ладно. Он был немного с утра, конечно же, под хмельком. Но пил он теперь не с ярыжками: с боярами, советниками ближними своими. Вот новая его среда, вот новые его приятели.

Никулка, его стременной, подвёл к нему тёмно-гнедого мерина с белой отметиной на лбу.

Матюшка, а иногда он вспоминал ещё, что он Матюшка, легко взлетел в парчовое седло и, обмякаясь, слегка покачался в нём, чувствуя, как упруго держат ноги тело. С десятком всадников, а к ним ещё два егеря, он выехал из города и миновал посад. За деревянным острогом он собрался было наддать мерину в бока, разрысить его, к седлу привыкнуть самому, поскольку ездил раньше верхом не часто: всё больше жизнь гоняла его пешим ходом. Но тут его спутники заметили, что навстречу им пылят по уже высохшей дороге всадники. И были они тоже кучкой небольшой. На шляпах у них покачивались павлиньи пёрышки, на польский лад были раздвоены околышки.

– Ляхи! – крикнул стремянной, мгновенно узнав знакомые очертания всадников, здесь всем известных.

– Стой! – скомандовал Димитрий, потянул за повод и перевёл бег своего коня на шаг. И тот затанцевал, кокетливо пошёл вперёд и как-то боком, немного приседая.

Ещё издали, когда они только что увидели тот отряд, он сразу же заметил впереди той кучки всадников надоевшую ему фигуру: «Несёт же бес его!»

«Ах! Сегодня же тот день! Так это он явился на мой тот срок!» – вспомнил Матюшка ещё вчера донимавшее его каббалистическое число. О нём он помнил с самого утра, хотя с похмелья болела голова. А вот встретил пана Меховецкого, и всё тут же вылетело из неё... «Почто бы так?» – подумал он о странном состоянии. Оно появлялось у него всякий раз, когда с ним рядом оказывался кто-нибудь из ляхов. Тогда все чернокнижные мысли его вмиг исчезали из головы...

Меховецкий узнал его тоже, ещё издали, хотя одет он был уже совсем в иной наряд. На нём развевался нараспашку русский кафтан, была непокрытой голова, и чёрные кудри ложились большими завитками на лоб его покатым.

Меховецкий подскакал вплотную к ним и нахально уставился на него во все глаза. Затем он ухмыльнулся, вскинул руку к шляпе и слегка поклонился ему в седле.

– Великий князь Димитрий, тебе бьёт челом полковник Николай Меховецкий!

До него, до Меховецкого, одного из первых в Посполитой дошла молва о появлении в Стародубе царя Димитрия, царя долгожданного и своего. Тот перестал скрываться. И вот теперь он спешил сюда, уверенный, что это его Матюшка, его задумка, принял личину новую. Он здесь, перед «московским царём»... «Хм! Как всё удачно вышло! И этот учитель, любитель малолетних панночек, справился, и превосходно, с заданием своим!»

Он готов был расхохотаться.

– Пан Меховецкий, о тебе уже слышан я! – ответил Димитрий на его поклон и мило-стиво кивнул головой ему. А сердце, его сердце, Матюшкино, помнило ещё вот этого пана. И эта память подталкивала его поклониться тому, кто вытащил его из тюрьмы, обогрел и накормил. К тому же и научил кое-чему: как стать царём Московии. А это многого ведь стоит... Да тот был паном, а он, Матюшка, всего лишь простой посадский мещанин...

Меховецкий приветливо улыбался ему, всё так же внимательно вглядываясь в него, как будто хотел уловить что-то за вот этой игрой. Да, они вели сейчас игру, для всех иных, в этот момент их окружающих. Всю подноготную не знают те. И уж точно не узнают никогда. Он отыскивал на его лице, фигуре, взгляде, за что бы уцепиться и кое-что понять... Кафтан на нём был слишком уж крестьянский. Да, въелся, сидит в нём скарёдный прижимистый мужик. Не вытравить... Ну что ж – пускай живёт таким. Не забывал бы только роль свою, взятую на время. Осанка появилась у него, не царская, но не была похожа и на холопскую уже.

«Вот те на! Откуда что берётся!» – с нескрываемым восхищением смотрел он на Матюшку, как тот сидит в седле, небрежно отдаёт приказы. И даже как глядит он на него, полковника Меховецкого. Ведь это он вылепил его, вот этого, пока ещё новорождённого царя... Да что там царь – он «царик» всё ещё!.. «И не дай бог, если сядет в самом деле на трон!» – почему-то стало ему не по себе, хотя он сам готовил его на эту роль... Но почему же вот только сейчас у него закралось сомнение? А не тогда, когда его на это дело подбивал князь Адам... Ну, тот бражник, безумец, что с него возьмёшь. Князь Александр – хотя бы поумнее...

– Филька, лети назад и предупреди Пахомку, чтобы приготовил всё для встречи дорогих гостей! – приказал Димитрий холопу. – Дуй, малец, дуй! Чтобы в штанах крутился ветер! Ха-ха-ха! – расхохотался он, довольный приездом Меховецкого.

Он догадался, что тот приехал не просто взглянуть на него, а с каким-то делом, вестями. Ведь впереди, об этом он не забывал, был Сёмин день, проклятый день. Он изжевал его, и чем ближе подходил, тем чаще он напивался по вечерам.

Всадники всей массой повернули и двинулись обратно в город.

– Князь Адам передаёт привет твоей милости! – сказал Меховецкий, поехав рядом с Матюшкой, наклонил почтительно голову перед ним, великим князем.

«Да, он-то не оступится, играет хорошо, все тонкости придворных знает! – мелькнуло в голове у Матюшки. – И он не подведёт меня. А вот поможет крепче сесть в царское седло!.. И с чем-то приехал... С чем же? Не случайно ведь сегодня опять моё число!»

В хоромах, уже за столом, Меховецкий сообщил ему, что за ним дня через два придёт полусотня гусар¹², пока всего лишь полусотня. Но в Посполитой о нём уже наслышаны, и гусары собираются опять в поход за царя Димитрия.

– Через недели три к тебе придёт от князя Адама пан Валевский, – понизив голос, сказал он, чтобы не слышали «ближние» царя.

– Кто он такой? – спросил Матюшка. Он всё ещё чувствовал себя им, простым Матюшкой, вот перед ним, перед паном Меховецким. Тот, его наставник и поводырь, загнал его, как вбросил, в иной мир, ужасно сложный. Туда он угодил по прихоти его... «Вот и пускай, паршивец, спасает или помогает!..»

– Ну-у! – удивился тот. – Его ты, великий князь, ведь должен знать!

Насмешка прозвучала в голосе его, захмелевшего. Он был, конечно же, пьян, но ещё держался крепко мыслями, не позволял себе лишнего болтать.

– Гусары в Польше не у дел, – продолжил дальше Меховецкий, пряча хитрую усмешку в усах. – Соблазни их, царь, походом!

О-о! Как сказал он это слово – «ца-арь»! Как в тот момент смотрели его пьяные глаза на него, на Матюшку... Что было в них и в голове его? Как знать хотел он всё же это.

– Я с Шуйским за престол начну войну! – вдруг само собой истерично вырвалось из уст его, того самого Матюшки, на которого какой-то воеводишка нагнал страха ещё совсем недавно вот в этом Стародубе. Ах! Как не хотелось ему вспоминать об этом, травил он это в себе вином...

Меховецкий снова усмехнулся, но ничего не сказал. Он стал опять говорить всё о том же Валевском, что тот будет канцлером, как велел князь Адам. И он потряс указательным пальцем перед самым его лицом, как будто отчитывал какого-то мальчишку.

И он, Матюшка, проглотил всё это.

Но Меховецкий всё не унимался. Он был изрядно пьян, и его тянуло царить вот здесь, при его «питомце», при его Матюшке. И он стал поучать сидевших за столом «ближних» царя.

– В Литву и Польшу письма рассылайте! Пишите: царь Димитрий жив и набирает войско! И не забудьте указать – оклады выше королевских обещает! – поднял он вверх руку, как будто грозил кому-то за непослушание. – Кто ступит первым ногой на землю Московии – получит сверх за четверть золотой!.. Ха-ха! Вот так мы и заманим их!..

И не видел он, пьяный, потрёпанных лиц «ближних» царя. Наутро же, проспавшись, он покрутил больной головой: «Брр!.. И кто только пьёт эту гадость!..» Он опохмелился, оставил свою полусотню гусар Матюшке, сказал, что через месяц вернётся с войском из Посполитой, и уехал обратно за рубеж. Он поехал на Волынь, в замок Вишневец. Он вёз князю Адаму подробный отчёт о том, что сделал и как живёт их ставленник в земле Московской.

Но Валевский, как обещал Меховецкий, не появился в Стародубе. Зато в конце августа там объявился опять сам Меховецкий. Он был возбуждён, при встрече с ним всё время шутил и был весьма доволен чем-то. Но он уже не позволял себе такие штучки, какие ещё проскальзывали у него совсем недавно, при последнем его визите в царские хоромы.

– Ты не представляешь себе, какие дела разворачиваются в Польше! Рокош¹³ Зебржидовского провалился! Жолковский разбил под Гузовом рокошан! Об этом я тебе уже говорил в прошлый раз! Так вот: те разбегаются, ищут, к кому бы пристать! У всех рыцарей полно гусар!

¹² Польская конница была двух родов: гусарами назывались латники или позже их стали называть в России кирасирами, а легкая конница означалась под именем пятигорцев.

¹³ Рокош – восстание шляхты или дворянства против короля и сената. Польша была в то время так расстроена, что сами мятежи в некоторых случаях считались законными.

Но король не доверяет им, не берёт на службу. И они намерены искать в другой войне добычи, золото, оклады!.. И тут, к их радости, среди них разнёсся клич, что ты жив и собираешься в поход! Ха-ха! – потирая азартно руки, заходил он по горнице, и сабля постукивала и постукивала его тяжёлыми ножами по слегка прихрамывающей ноге.

* * *

И вот наконец-то наступил тот самый Сёмин день. А перед тем у него, у Матюшки, была кошмарной ночь. Наутро же всё было по-прежнему: ночь новостей не принесла.

«Чёрт бы его побрал!» – уже не раз мысленно ругал Матюшка этот срок; он ждал его, отсчитывал мгновения со страхом.

День наступил, прошёл, закончился. И весь этот день Матюшка терзался, но не показывал ничего перед тем же Меховецким. А тот каждый день таскался к нему в хоромы и всё нудил про войско и что вот, мол, казна нужна большая.

– А где её взять?! – загорячился он как-то, не выдержав его нытья. – Города что за деньги-то шлют? Как будто там... лишь доят! И только отписками одними кормят! Вот, дескать, царём признаём, но серебришка взять негде! Кабацкую казну поразорили, и книги те, многие, куда-то затерялись! Мол, неизвестно с кого и сколько раньше брали!.. Пахомка пишет им: приноровясь по-старому! А они в ответ: десятую деньги собрать не можем!..

Так мучился он весь этот день. К тому же его донимали дьяки какими-то мелкими делами. И он едва дождался конца дня, чтобы понять, что в этот день ничего не случилось... «Что? Наврали числа!.. Не может быть!..» Он в них, в эти числа, верил, как в Бога никто не верил до него... «Но почему же до сих пор сходилась всё? Обман, ошибка в счёте, загадка? А может, я зря учитывал те, дьявольские дни?.. Тогда, выходит, мне нужно ждать ещё три года! Да нет – даже четыре! А что будет через четыре? То я не просчитывал совсем!»

– Государь, тут есть девка, – вошёл к нему в горницу Пахомка и заикнулся о том, чем всегда готов был услужить ему, и сейчас почувствовал, что эта служба нужна. – У неё всё на месте, всё при ней...

Пахомка исполнял у него сразу две обязанности: ведал приказом Большого прихода и был его комнатным дьяком.

– Давай, – согласился Матюшка. Ему не нужна была вторая ночь кошмаров.

Пахомка вернулся в дворецкую и вызвал к себе девку Агашку. Та недавно завелась в хоромах и была в теле, мила лицом, а по глазам было заметно, что сконфузить её не так-то просто было. Он распорядился. И бабы помыли Агашку в баньке, расчесали ей волосы, надели на неё белоснежную рубашку и опять передали с рук на руки ему. Он ещё раз проверил всё придирчиво и поджал тонкие губы при виде сочной девки. Озорные мыслишки, ненужные сейчас, забежали в его голове и ломотой отдались в теле... Он крякнул для крепости, чтобы устоять перед соблазном дьявольским, и стал по-деловому наставлять её.

– Иди к царю! Сама знаешь, как утешить его!.. Хм! Вроде баба, а ведешь себя как девка! – заметил он её блестящие смущением глаза...

Агашка робко вошла в царскую горницу и остановилась у порога.

– Как тебя зовут, а? – спросил Матюшка девку, стоявшую у двери не поднимая глаз, хотя было заметно, что она не стеснялась его.

– Агашка, – промолвила та.

Он провёл её в горницу, раздел и осмотрел... Все заботы и тревоги о каком-то дне, сейчас ненужном, свалились в иной мир, и он погрузился в бездумную муть...

– Иди, иди к себе! – прогнал он её, когда всё было кончено, а он почувствовал, что она не помогла, что угодил в похмелье совсем иное.

Она поднялась с постели, в тусклом свете ночника мелькнули большие белые формы, прошлёпала босыми ногами до лавки, надела рубашку и сарафан и бесшумно выскользнула из горницы.

Он остался один, и снова в его голове заползали всё те же мысли. Он встал, нашёл на столе кувшин с медовухой, который распорядился принести сюда Пахомка специально для них. Припав к нему, он глотнул, но лишку, и закашлялся... И тотчас же проснулся каморник, что спал подле его двери, охраняя, как верный пёс, его сон. Он напился, снова лёг в постель и ещё долго ворочался, глядел, как на поставце у двери блестит одиноко кувшин с медовым питием, к которому так и не притронулась Агашка... Заснул он уже под самое утро, даже не заметил, когда и заснул.

В полдень же на царском дворе поднялась суматоха и какой-то шум, вскрики...

Он выглянул в окно из терема и увидел, что во двор влетели на замордованных конях два его гонца. Они спрыгнули на землю, кинулись к крыльцу и стали торопливо подниматься вверх по лестнице.

«Да что же ещё случилось-то?!» – неприятной мыслью заскребло внутри у него; да он ждал одно, а вдруг там, эти числа, ему подсунили какую-нибудь пакость...

Через минуту в его комнату вошёл Пахомка с гонцами. Гонцы остановились у порога, а Пахомка прошёл вперёд к нему и почему-то заговорил тихо, как будто боялся, что кто-то подслушает его:

– Государь, сюда идёт полк гусар пана Будило, мозырского хорунжего¹⁴...

«Ах, эта манера разводить тайны там, где не нужно!» – чуть не вспылал он, хотя весть была радостной.

И тут же в горницу заскочил Меховецкий, лицо блестит, и громкий, во всё горло, вскрик чуть не оглушил Матюшку: «Будило Оська идёт! Я же говорил тебе, что он придёт и к сроку!»

«К какому ещё сроку?!» – мелькнуло удивлённо у Матюшки; он никогда не открывался перед Меховецким. Но всё это моментально вылетело у него из головы при одной только мысли, что подтвердилось последнее его предсказание... Да, те числа не обманули!..

– А-а! – протянул он равнодушно, совсем как «Немой» Алёшка, и так, что даже Меховецкий подозрительно глянул на него.

В тот день Осип Будило подошёл с полком к городу, расположился станом под ним и тотчас же явился в хоромы, чтобы представиться царю. У крыльца хором его встретил Меховецкий и проводил в горницу. Там на троне сидел царь, а подле него стояли рынды, в два ряда сидели бояре из ближней его думы.

Меховецкий ввёл в горницу хорунжего и объявил его: «Государь и великий князь Димитрий Иванович, тебе, государю, челом бьёт хорунжий войска польского, вольный человек Осип Будило!»

Будило поклонился Матюшке, подошёл к трону и коснулся губами его руки.

Матюшка посмотрел на Меховецкого, который уверенно торчал перед троном, и спросил взглядом его, мол, правильно ли я веду себя. Заметив одобрение на его лице, он подал знак ему, чтобы он сказал речь.

– Государь и царь Димитрий, – выступил вперёд и заговорил Меховецкий, обращаясь к хорунжему, – имеет великую радость от прибытия вольных гусар для помощи ему в деле освобождения его наследного трона от Шуйского, который воровством захватил его...

В тот день Матюшка задержал хорунжего у себя в хоромых. И за столом долго шла весёлая пирушка. Так что Будило уже никуда не уехал из хором, там же и уснул на лавке в горнице, куда его свели под руки царские холопы.

¹⁴ Хорунжий – знаменосец в войске.

Два дня затем ушли на переговоры с Будило о жалованье его гусарам. И вот на третий день он опять приехал с утра в царские хоромы. В горнице у царя уже был Меховецкий и ещё какие-то русские. И там Будило снова завёл разговор об окладах. Пахомка же, когда всё это затянулось и все стали нервничать, приказал холопам подать к столу вино и медовуху. Все выпили и подобрили, беседа сразу оживилась.

В разгар застолья слегка скрипнула и приоткрылась дверь в горницу. И в щели сначала показался пробор, расчёсанный надвое и смазанный маслом. Затем показались круглые глаза, появилась вся голова подьячего. И, так застыв, она промямлила робким голосом: «Государь, из Тулы атаман пришёл... Отважный и красивый!.. Хм!» – поперхнулась она от собственной же смелости.

Будило громко хохотнул: «Хо-хо!» Взглянув же на царя, он вздохнул, повёл бровями: мол, что поделаешь, если у тебя такие трусливые холопы.

Димитрий подал знак подьячему: «Пусти! Узнаем, что принёс гонец!»

– Постой, государь! – поднялся с лавки Меховецкий. – Дай-ка я выйду к нему!

Ему почему-то стало беспокойно, с лица сползла улыбка. Не дожидаясь согласия Матюшки, он вышел из горницы, пробежал сенями, выскочил на теремное крыльцо и посмотрел вниз.

Во дворе царских хором на карауле прохаживались, как обычно, стародубские городовые стрельцы. У коновязей торчала большая группа жолнеров¹⁵ и гусар. Они держали наготове лошадей так, что было ясно: царь принимает у себя знатных польских гостей. У самого же крыльца стояли два донских казака. По одежде и по выправке было заметно, что это не простые казаки.

«Атаманы!» – подумал Меховецкий и быстро спустился вниз. Приглядевшись к одному из них, он удивился.

– Атаман, я видел тебя где-то уже!.. А-а! Ты у Корелы ходил подручником! Так ли это? Заруцкий!

Да, это был Заруцкий, атаман донских казаков, ещё молодой, лет двадцати пяти, высокий ростом, статный и красивый, как говорил подьячий.

– Да, – ответил Заруцкий и вспомнил, что видел Меховецкого в свите Димитрия в Москве среди его польских сторонников. И он был весьма близок к царю, судя по тому, как часто мелькал подле него.

– А ну-ка, отойдём в сторонку, – оттащил Меховецкий его от крыльца, чтобы никто не слышал их. – Атаман, мы сейчас будем у царя. Так ты ничему не удивляйся. Корела говорил, малый ты сообразительный. Всё поймёшь сам.

Заруцкий молча пожал плечами: дескать, что заранее-то говорить, увидим, что к чему.

В хоромы казаки зашли вслед за Меховецким. Тот провёл их в горницу, где находилось несколько человек. Среди них Заруцкий сразу же узнал мозырского хорунжего пана Будило. Другой заметной личностью в горнице был среднего роста человек, мужиковатого вида, с мясистым носом. А на лавке, кривляясь в углу под образами, сидел горбатый человечек в пёстром шутовском наряде. Да ещё в горнице торчал невзрачного вида дьяк. Его Заруцкий видел, кажется, в Москве.

– Ваша светлость! – обратился Меховецкий к мужиковатому и почтительно наклонил голову. – От Болотникова – атаман!

Заруцкий шагнул вперёд и поклонился новому царю: «Государь, позволь передать грамоту от твоего большого воеводы Ивана Исаевича Болотникова!»

Димитрий подошёл к нему, сам взял у него грамоту и подтолкнул его к лавке: «Садись, атаман!»

¹⁵ Жолнер – наёмный солдат в польско-литовском войске.

Он небрежно сорвал печать и подал грамоту дьяку: «Читай!»

И Пахомка зачитал послание Болотникова: «...И молим мы, холопы твои, тебя, государь, о помощи войском наспех брату твоему, царевичу и великому князю Петру Ивановичу. А сидим в осаде уже два месяца, и голод и нужду терпим немалую во имя твоего царствования. И многие приступы врагов твоих, государь, отбивать силы на исходе...»

– Молодец, атаман! – сказал Димитрий, после того как зачитали грамоту и ещё выслушали самого Заруцкого. – На помощь Болотникову пойдём! Соберём полки и пойдём! А тебе бы поспешить на Дон. Приводить под мою руку вольных казаков: служить государю истинному, природному, за великие оклады!

* * *

Матюшка решил устроить схватку, размяться, от попоек отдохнуть, чтобы рука почувствовала вновь увесистую тяжесть клинка. Желал покрасоваться тоже он, недурно владея саблей, как он считал, и в чём его уверил Меховецкий. Тот натаскал его по этой части.

Потешный бой, для крепости руки, смутил весь царский двор. Закрыли на конюшне лошадей, иных повыводили со двора, убрали козлы, чурбаки какие-то и всякий хлам, что попался под ноги. Телеги и повозки выкатили за ворота: расчистили площадку для сражения.

Сошлись пятеро на пятерых. Матюшка отобрал себе в напарники стрельцов, Заруцкий же своих, привычных к драке казаков.

И пошло, пошло!.. Матюшка сразу же насел на атамана: жёстко, тесно, вплотную к нему, впритык... Вот так, вот так его учил пан Меховецкий.

Тот и сейчас стоял поодаль с Будило и наблюдал, как его «выкормыш» прилаживается к клинку и ловко крутит им, разогревая руку.

«А вдруг! – тревожно стало полковнику с чего-то. – Да нет – не может быть!.. Ему ещё не время умирать! Ещё не всё исполнил он! Хм!» – ехидно ухмыльнулся он каким-то своим мыслям.

Раз, раз!.. Клинки мелькают, как злые змеи. День серым был, и небо хмурилось. Прохладный ветерок студил, не остужая, разгорячённые тела бойцов. Кругом работа мышц и напряжение, стихия, натиск... Крутил, крутил Матюшка свой клинок, чтоб сбить противника обычной неизвестностью. Он в этом, пуская тайны дымовой завесой, весьма уже поднаторел. А сам следил он, настороженно следил за каждым движением клинка Заруцкого.

А что же атаман? Казалось, тот и не сражался с ним. Клинок же сам собой играл в его руке. Она лишь подчинялась прихотям его. То тут ходил он, то исчезал куда-то с глаз. Вдруг появлялся вновь, и уже сбоку, откуда его не ожидал Матюшка, и нависал над ним, его башкой, мгновения отсчитывал... Не оставлял он ни малейшего сомнения, что было бы через мгновение. И снова он как будто робко удалялся. Он не грозил, но и не прятался он тоже.

«Раз, раз!.. Достать, достать!» – вновь запыхтел Матюшка... И обозлился он, стал мазать, от этого взбесился. Забыл он советы грубого, но преданного Меховецкого: что страсть – хреновый друг. Особенно же на бою, и, как гулящая, всегда продаст тому, кто больше даст... Промазал, ещё раз – промазал!.. «Ах! Этот, чёрт! Неуловимый, что ли!» Нос сизым стал, глаза налились кровью, и капли пота повисли на бровях... Мельком взглянул он на противника и встретил его холодный взгляд. Тот свеж был, как огурчик, как будто в бой ещё он не вступал... И кинулся он на него, и рубанул... Рубил, рубил!.. Но раз за разом рубил его клинок лишь пустоту... Вот вновь удар – клинок рассёк прозрачный воздух! Вернуться к прежнему, туда, где на него летел уже стремительно клинок, нет времени!.. Всё было бы кончено, будь то в реальной драке!.. Ещё раз!.. Да нет, не может он неуязвимым быть, недостижим!.. Не сатана же он, не дьявол, а всего-навсего какой-то атаман!.. А он, Димитрий, царь, великий князь!.. Как смеет он!..

Всё спуталось в его башке, мешало драться, и заходила рука всё чаще туда, куда не надо...

Но вот опять вопит рожок по царскому двору. И опускают противники свои клинки, расходятся усталые по сторонам, переводя дыхание. А нервы, нервы-то у всех напряжены... Гудели ноги, дрожали руки, пот застилал глаза. Кругом распаренные лица, пыхтение и вскрики. Явилась брань опять во двор, куда её вновь пригласили.

Матюшка бросил клинок в руки холопа, подошёл к Заруцкому и, хотя был здорово раздражён, дружелюбно похлопал по его плечу: «Дерёшься славно, атаман!..» Похлопал, но и почувствовал, как нерешительно всё это вышло у него, как будто он встретился с противником, не зная ничего о нём. Остался тот загадкой для него, от этого опасен был. И понял также он, что сейчас, здесь на дворе, его жизнь была в руках вот этого донского атамана. Но этого он не позволит больше никогда... Однако и не отпустит он его от себя. Всегда тот будет рядом, под рукой, ему нужны такие вот, умелые.

– Ты будешь моим ближним боярином! – твёрдо сказал он донскому атаману.

Заруцкий аккуратно оправил на себе парчовый, изысканно пошитый кафтан и поклонился ему: «Благодарю, государь, за эту милость! Рад буду служить тебе, великий князь!»

Матюшка отпустил его, кивнув небрежно головой: «Иди, атаман!»

И Заруцкий отошёл от него к своим казакам. Его приятель Бурба подал ему фляжку с квасом. Он приложился к ней, пропустил пару глотков и отдал её обратно. Подтерев усы, он через плечо глянул на Матюшку. И Матюшка непроизвольно подмигнул ему... О-о, если бы он знал, с каким бойцом полез он драться, то никогда бы не подмигнул ему игриво.

Его, Заруцкого, учил сражаться не полковник, хотя тот был неплохой боец.

Глава 3. Заруцкий

Когда же, как и с чего всё началось? Как он, Ивашка из Заруд, докатился до вот такой жизни, до боярства, до лютой службы у самозванного царя?

А началось всё полтора десятка лет назад, с набега крымцев на его родную деревеньку Заруды под Тернополем. Крымцы нагрянули внезапно. Не то их проморгали дозоры, не то весть о набеге просто не дошла до их убогой деревеньки.

Дикие крики степняков, визг баб и девок, а вон там расправа с мужиками... Всё это давным-давно забылось у него. Забылась и мать. В памяти застрял только отец. Как шёл он с косой когда-то в поле, ритмично покачиваясь, широкими взмахами косы укладывая траву в валки, когда он видел его в последний раз... Так идёт он и до сей поры... Нелепое видение, как на Петьке Кошелеве рыцарские латы.

В Крыму его, мальчонку, продали старой усатой татарке. Та редко кормила его, и одним просом, зато часто раздевала донага и лапала холодными трясущимися руками: пыхтела, прерывисто дышала, противно пускала слюну... Он рано познал всё и рано начал мстить. Первый раз испытал это, когда слегка подтолкнул хозяйку в глубокий каменный колодец подле мазанки во дворе. Затем слушал, как она там вопит, и всё никак не мог понять, почему долго не тонет...

Подозревая, что это он виноват в смерти хозяйки, улусники избили его чуть ли не до смерти. А потом ещё и кади¹⁶ нудно отсчитывал удары палкой. Сыпал и сыпал ему на спину удары распалившийся сосед старухи, её родич, одноглазый Мустафа, страшно вращая, как циклоп, своим одним глазищем.

Его опять продали. Теперь его купил какой-то оглан. И аталык, дядька-воспитатель при дворе оглана, стал обучать на худом измождённом мальчонке сынков оглана приёмам сабельного боя. Ему обычно совали в руки щит или простую палку и выталкивали во двор: «Беги!...» И мальцы гонялись за ним с саблями, норовя снять ему голову.

За четыре года в Крыму у него задубили кожу и сердце, превратили в сплошной клубок мышц, увёртливый, как угорь. Он обострённо чувствовал опасность, бил без промаха и без волнения, и не смущала его кровь.

Его жизнь при дворе оглана оборвалась внезапно. Старший сын оглана, Байбек, застал его однажды с рабыней-молдаванкой, своей наложницей... Был вскрик, и нож блеснул!.. Он выбил у Байбека нож и этот же нож всадил ему по рукоятку в грудь... А тут ещё и молдаванка взвизгнула... Но он зажал ей рот ладошкой и укусил от страсти её грудь. Прошипев: «Молчи!» – он исчез со двора, растворился в темноте южной тёплой звёздной ночи. Этой же ночью за улусом он добыл коня, сломав шею какому-то верховому татарину, который случайно подвернулся ему под руку.

До Перекопа, опасаясь погони, он пробирался по ночам, а днём отсиживался по кустам и балкам. А вот уже за Перекопом, на просторе, он дал свободу аргамаку. Больше он не скрывался, пошёл намётом на восход солнца, где, как слышал от тех же крымцев, был Дон, воля и «круг».

На Нижнем Дону он появился с конём и саблей. Ему стукнуло уже семнадцать лет. Он был высок ростом, силен, красив, смел и жесток.

Так началась его жизнь вольным казаком на Дону.

¹⁶ Кади – духовное лицо у мусульман, несущее обязанности судьи; огланы (уланы) – феодалы высшего ранга в Крыму упоминаются в XVI–XVII вв.; аталык (от слова «ата» – отец) – лицо, заступившее место отца, воспитатель сыновей крымского хана; русские источники переводили слово «аталык» – дядька; как интимно доверенное лицо крымского хана, имевшее попечение о его семье, аталык принадлежал к числу высших крымских сановников.

Прошло несколько лет. Он стал атаманом, а за удачной воровской фортуной ходил на Волгу.

Вот и сейчас два лёгких челнока стояли у берега, скрываясь за кустарником. На корме переднего затаился Ивашка из Заруд, а на корме другого – его побратим Бурба. На каждом челноке сидело по два казака на вёслах и ещё по два с самопалами в руках. У противоположного берега реки на челноках схоронились казаки атамана Шпыня. С ними Заруцкий вместе промышлял этим сезоном и жил одной сумой¹⁷.

Поход сюда, на Волгу, для куренников оказался удачным. Они три раза выбегали на караваны судов, отбили два струга, гружённые зендью и киндяком. На третьем они захватили сундуки с мелочным агарянским товаром¹⁸. Добыча была богатой и велика. Они едва-едва могли поднять её на коней. Поэтому Заруцкий решил завязать. К тому же подошла середина сентября, по реке потянуло холодным ветерком – первым предвестником осени. Пора, пора!.. Нужно было спешить, управиться, пока не пожух высокий ковыль – верный друг казаков – не оголилась опасно степь.

Но Шпынь подбил куренников выйти на загон ещё раз. И вот теперь они стерегли очередной караван. И когда из-за поворота реки показался передний струг, белея косым парусом, казаки замерли на челноках.

Суда шли тяжело, глубоко осев в воду, суля этим богатую добычу.

Вот засаду миновал первый струг, за ним прошёл второй, третий... Когда с ними поравнялся последний, Заруцкий махнул рукой гребцам. Те ударили вёслами по воде, челноки выскочили из-под берегового тальника и стремительно понеслись к каравану.

Людишки на струге заметили их, забегали. Рулевой налёг на кормовое весло, ему помогли гребцы. И струг стал со скрипом разворачиваться, чтобы уйти от столкновения, двинулся к острову... Но оттуда навстречу ему уже неслись два других челнока. И струг заметался по реке зигзагами, как олень, преследуемый стаей волков.

Для острастки казаки пальнули из ружей по передним судам. А там, видя их малочисленность, оправившись от испуга, спустили паруса и медленно пошли на вёслах назад, вверх по реке. Со стругов, ещё на дальних подступах, пристреливаясь, ударили из мушкетов. И пули, хотя и на излёте, зашлёпались в воду вокруг лодок.

«Добро-то немалое, должно быть!» – мелькнуло у Заруцкого, сообразившего, что из-за бросового товара купчишки не стали бы рисковать всем караваном.

Но тут неожиданно раздались выстрелы и с верха реки.

Атаман взглянул туда и заскрипел от злости зубами.

Там, из-за плёса, показался новый караван. Суда шли под парусами, вниз по течению, очень быстро и уже начали стрелять по их челнокам. Откуда они взялись – было непонятно, так как дозорные вели целый день этот караван, таясь и наблюдая за рекой с берега. И только потом, когда убедились, что он идёт один, а следующий отстоит на полдня пути, они решили напасть на него.

И Заруцкий догадался, что Шпынь поленился хорошо досмотреть верх реки, куда ходил со своими казаками и вёл этот караван... «Прибью пса!..» – молча выругался он в ярости оттого, что добычу вырывают у него из самых рук. У него!.. Такого он уже не терпел...

– Вертай назад! – крикнул он гребцам, видя, что сейчас их зажмут с двух сторон. – Назад!.. Назад!..

¹⁷ Жить одной сумой – общий котёл, общая добыча.

¹⁸ Зендень – восточная бумажная ткань различных цветов. Киндяки – одноцветная бумажная ткань (*перс.*), также кафтаны особого покроя. Мелочной агарянский товар – разные восточные товары, мелкие изделия из металла, шелковые ткани, бусы и т. п.

Оба челнока слаженно развернулись и так же ходко пошли обратно к берегу. Но уйти без потерь им не удалось: выстрел с одного из стругов срезал казака, сидевшего на весле. И тот обмяк, сунулся головой за борт, будто хотел освежиться, вывалился из лодки и исчез под водой.

Заруцкий прыгнул на место казака, налёг на весло. И они опять понеслись к протоке, скрытой за кустами, где обычно отсиживались в такие тревожные минуты. За ними по инерции ринулись и суда. В последний момент, у самого берега, казаки выхватили из воды вёсла. И челноки один за другим нырнули в кусты, с шумом проскочили мелкий ручеёк, вылетели на широкую старицу, заросшую по берегам непроходимым тальником.

Вслед им со стругов по кустам ударили мушкеты. И сразу же оттуда донеслись крики и перебранка с засевших на мель судов: «Собаки!.. Гадёныши!..»

Казаки устало вытерли пот и перевели дух...

Ночь. Тепло. В кустах заходится нытьём какая-то ночная пташка.

На глухой протоке затабанили по воде вёсла, донеслись приглушённые голоса... А вот зашуршал береговой тальник на тропинке от реки, и к шалашам, в освещённое костром пространство, выплыла коренастая фигура Шпыня. За ним появились и его казаки. Атаман прошёл к костру и уселся на колоду, напротив Заруцкого. Мельком кинув на него сумрачный взгляд, он почувствовал напряжённое затишье у костра, пренебрежительно оскалился, вытащил из-за пазухи ложку и требовательно протянул к котлу руку.

Кузя, кашевар куренников, бросил в чашку пару черпаков завары¹⁹ и небрежно сунул её ему.

Шпынь ухватил ложку толстыми пальцами, чёрными от копоти и жира, стал размеренно кидать в рот кашу, тяжело заворачивал большой, как у лошади, челюстью. И на голове у него сразу игриво задрожал хохолок седых жёстких волос, как бы подсказывая, что он уже стар, неуклюж, ленив и самоуверен и за этот острый хохолок схлопотал своё прозвище.

Его казаки тоже получили по чашке завары и присели тут же подле костра, на песке.

Шпынь поел, вытер о шаровары ложку и сунул её обратно за пазуху.

– У меня Миколку убили, – тихо сказал Заруцкий, не сводя взгляда с пламени костра, краем глаза же заметил, как напряглись казаки Шпыня.

– Хрен знает откуда их принесло-то! – просипел Шпынь; он не выдержал тягостного молчания казаков и стал ругаться: – Сволочи!..

В его голосе слышался вызов: оттого что ему, куренному атаману не один десяток лет, приходится оправдываться перед каким-то Ивашкой, на Дону без году неделя... «Щенком, молокососом!..»

– Уйди с куреня, – всё так же тихо и спокойно сказал Заруцкий.

– Не твой курень! – вскинул Шпынь на него озлобленный взгляд, ощерил зубы, вот-вот, казалось, набросится, укусит...

– По-мирному уйди, – повторил Заруцкий. – Миколка на тебе.

– У куренников спроси! – визгливо, по-собачьи, вскрикнул Шпынь, слабея в ногах от странно тихого, но жёсткого его голоса, и сквозившей в нём какой-то непонятой ему воли.

– Век тебе жить и грабить, а суда в курене не видать! – бросил ему в лицо Бурба самое страшное проклятие донцов, обрекающее на бесчестие за кругом и позор, когда даже самый последний казак презрительно сплюнет, но не подаст руки изгою.

Шпынь, почувствовав за спиной недоброе сопение своих казаков, вскочил, выхватил из ножен саблю и отпрыгнул от костра, готовый постоять за себя. Но никто из его казаков не двинулся с места. Они выжидали, что будет дальше. Он же, набычившись, ринулся на Заруцкого – рубанул его!.. И угодил по чурбаку, где тот сидел ещё долю секунды назад. Он проворно крутанулся, сунулся в ту сторону, куда метнулся Заруцкий, и тут же напоролся на его клинок...

¹⁹ Завара – каша из муки, другое название – затируха.

Казаки оттащили тело атамана подальше от костра и зарыли в песке.

Заруцкий присоединил казаков Шпыня к своему куреню и ушёл с Волги на Дон: в зимовую станицу.

– Иванушка! – встречая его, с криком подбежала к нему его любовница, казачка Тонька; следом за ней подбежал и её сын Стёпка, которого она прижила с ним.

Заруцкий обнял её, похлопал по пухлой заднице, почувствовав, как истосковался за два месяца по бабьему телу. Затем, отстранив её, он подхватил сына на руки, подбросил: «Расти вот таким, большим!» Поймав его, он поставил его на землю.

К ним подошли и обступили со всех сторон сторожевые казаки его станицы.

– Тут до Корелы малый пришёл с Черкас, – сообщили они ему. – Корела присылал до тебя. Велел к нему показаться.

– Что там? – спросил он.

– Слух прошёл по войску: царевич-де объявился, убиенный, Димитрий – колена Грозного. Воскрес-де, как Лазарь!..

– Хм! – весело хмыкнул Заруцкий.

– На службу зовёт. Волю казакам сулит. Смага «Низ» собирает на круг.

* * *

Не знал Заруцкий тогда, что через год судьба забросит его в лагерь царевича и его путь-дорожка пойдёт совсем в другую сторону от жизни простого воровского атамана с Дона. Не выбирал он ничего, но туда, под Новгород-Северский, к царевичу, пришёл атаманом в донском войске Корелы, известного всему Дону атамана. Перед уходом с Дона Заруцкий обвенчался с Тонькой. Венчал их расстрига-поп Онуфрий из его станицы, по-быстрому. Все торопились в поход.

Была середина ноября. Стояла непогода. Холодный, с ветром дождь сменялся мокрым снегом. Войско царевича готовилось к новому штурму города.

Первый приступ князь Никита Трубецкой и Пётр Басманов, воеводы в осаждённом Новгороде-Северском, легко отразили, ударив со стен из пушек и ружей. И эта первая же неудача, сумятица и несогласие между запорожцами и шляхтичами загнали царевича в тоску. Поэтому донских казаков встретили с восторгом, хотя Корела привёл всего каких-то пять сотен человек.

Царевич забегал среди казаков, закричал Юрию Мнишке, своему названому тестю и гетману войска: «Я же говорил – Дон поднимется!»

Заруцкий ухмыльнулся, переглянулся с Корелой. Им было непонятно, отчего веселиться: Смага-то, верховный атаман Дона, осторожничая, убедил круг не посылать к царевичу войско, только охочих.

На радостях царевич подтянул к шанцам винтованные пушчонки малого калибра и потешился, пострелял ядрами в крепость, которая не желала поддаться ему. Пушечки потявкали и замолчали, не причинив никому никакого вреда. Но царевича, Отрепьева Юшку, Расстригу, это нисколько не смущало. Его руки тянулись ко всему, и всё хотел попробовать он сам...

Гетман же Юрий Мнишка теперь основательно подготовил войско и двинул его на новый штурм города. К стенам они подошли ночью, под прикрытием подвижных срубов. Но за стенами их уже поджидали. О начале штурма осаждённым донесли лазутчики, донесли и об измене в городе. И Басманов выжег её с помощью городских воевод, Якова Барятинского и Фёдора Звенигородского.

Под огнём со стен наступающие заматали всё же ров хворостом и соломой. Но поджечь стены они не смогли, откатились, потеряв много убитыми. Вместе со всеми от стен бежали донцы Корелы. А среди них был и атаман Ивашка из Заруд, впервые в жизни угодивший настоящему в горячее дело.

И царевич опять приуныл. Наёмники же стали косо поглядывать на него: что-то не видно было подле него бояр.

– Ведь ты же клятвенно уверял всех: что вот, дескать, только ступлю ногой на свою наследную вотчину, так и побегут бояре ко мне! – упрекали они его...

Но уже через два дня в лагере началось такое, как во хмелю сплошное ликование... Пальба из ружей, крики! Один день, другой – и всё новости, новости!.. Вот перешёл на сторону царевича Путивль, пограничный город. Его жители и городовые боярские дети повязали воевод, Михаила Салтыкова и Василия Мосальского, и выступили против гарнизона из московских стрельцов. А те не сопротивлялись, сдались. Они уже давно не получали за службу от Годунова оклады и не стали воевать за него... Следующим отпал от Годунова Рыльск. Затем восстание перекинулось в Курск. Оттуда служилые привели к царевичу повязанным воеводу Григория Рошу-Долгорукова. Вскоре поддалась царевичу и вся Комаринская волость, за ней последовала крепость Кромы.

В лагере у мятежников воеводы недолго были в разномыслии: они поклонились царевичу, присягнули на верность ему.

А 18 декабря, как раз шёл тогда 1604 год по христианскому летоисчислению, под Новгород-Северский подступило войско Годунова, сформированное, как обычно, на пять полков.

Мстиславский, разведав силы царевича, вывел своё войско в поле и построил, стал ожидать неприятеля. Однако не ревели трубы, как обычно, и не гремели тулумбасы²⁰. Войско стояло в полной тишине, своей мощью наводя страх на всю округу.

Но Юрий Мнишка решился всё же выйти против него: и сражение начал тяжёлыми латниками, пустил их на полк правой руки. Атака бронированной конницы была мощной. Дмитрий Шуйский не ожидал такого удара, растерялся, и его неуправляемый полк попятился, оголяя с фланга большой полк. В образовавшуюся брешь хлынули гусарские роты с Доморацким впереди, зашли в тыл русским... Туда, скорей туда, ударить в спину им!..

Появление гусар около своей ставки большой воевода, Фёдор Иванович Мстиславский, встретил мужественно. Его боевые холопы и московские жильцы²¹ не дрогнули, приняли на себя первый удар латников. В гуще схватки гусары порубили знамёна большого полка, сшибли с коня и самого Мстиславского, тяжело ранив его. Но уйти им удалось не всем от нагрянувших конных стрельцов и иноземных копейщиков Маржерета. Доморацкого смахнули с коня и взяли в плен. Его гусар, тех, что прорывались через ряды дворянской конницы, порубили...

Волна сумятицы в большом полку дошла до других полков. И Василий Голицын с Иваном Годуновым отвели свои полки в лагерь. Так отдали они поле боя и победу пану Мнишке. В этой неразберихи на поле боя не участвовали лишь казаки Корелы. Их выдвинули в сторону города, и там они простояли без дела, ожидая вылазки гарнизона. Но крепость, поддерживая Мстиславского, только непрерывно грохотала канонадой. Да на стене, подгоняя пушкарей, бестолково метался Петька Басманов.

В лагере царевича долго веселились. Вообще-то, из-за ничего: всего-то лишь вынудив Мстиславского оставить поле боя. Когда же страсти улеглись, наёмники потребовали от гетмана выплаты жалованья. Заработанную успешной атакой звонкую монету они хотели иметь на руках. Не доверяли они никому, считали: так надёжнее.

В этот вечер Юрий Мнишка просидел в ставке у царевича, в подгородном монастыре, вместе с полковниками. Они ломали голову, где взять деньги. В войсковой казне были только жалкие остатки тех денег, что принёс дьяк Сутупов, спрятав их воровски от путивльских воевод. Этих денег едва хватало, чтобы вознаградить за труды одну-единственную роту. И царевич, недолго думая, отдал эти крохи ротмистру какой-то роты. Тот же наплёл ему, что на его

²⁰ Тулумбасы – старинный ударный музыкальный инструмент, род литавр.

²¹ Жильцы – находились на службе лично при государе.

роту равняются другие, и они останутся, если останутся его гусары. Не увидел царевич в этом уловки наёмников. Опытные латники поняли по сражению, во что они вляпались, и решили скорее убраться из России.

Весть о том, что жалованье получила только одна рота, приглянувшаяся царевичу, быстро разнеслась по лагерю. И латники возмутились, бросились грабить обоз. Их с трудом уняли.

Из-за этих беспорядков Корела, ожидая всяких неприятностей, выставил на ночь с Заруцким усиленные караулы по донскому войску. Ночью же Заруцкого сменил Бурба.

– Иди вздремни! – проворчал тот.

Заруцкий, до чёртиков уставший, похлопал его по плечу и ушёл к себе в палатку. Но отдохнуть ему не довелось. Вскоре в лагере наёмников запылали огни, всплеснулись крики, страсти... Там стали грабить войсковое имущество...

А утром наёмники собрались уходить, свернули лагерь. И сразу же к ним прискакали Мнишка и царевич. Там были уже запорожские и донские атаманы. Мнишка бросился уговаривать одних гусар, царевич заметался среди других. Он умолял их остаться, обещал троекратные оклады, службу и поместья на Руси. Но озлобленные латники сорвали с него соболью шапку и шубу... Да, да, хотя бы что-то получить за свои услуги... А какой-то гусар бросил ему в лицо: «Сидеть тебе на колу!»

Царевич влепил ему пощёчину. Завязалась потасовка... Их растащили. Недобро зубоскала, гусары вскочили на коней и покинули лагерь, бросили войско пана Мнишки и царевича. Последний же, потерянно уронив длинные руки, так и остался стоять посреди разбитых палаток и воев. Коротконогий, с непропорционально широкими плечами и толстой бычьей шеей, он был удивительно похож на Шпыня...

И это сходство озадачило Заруцкого так, что он от удивления даже крикнул: «Кхе, кхе!..»

Через несколько дней царевича бросил и его гетман Юрий Мнишка с сыном Станиславом.

– Буду просить у сената помощь! – отводил в сторону глаза Мнишка, прощаясь с царевичем и думая, что это навсегда.

– Хорошо! Жду! – обнял тот его и сделал вид, что поверил ему.

И в лагере осталось всего полторы тысячи наёмников с Тышкевичем и Ратомским. Ситуация в войске изменилась. Теперь верх взяли запорожские и донские атаманы и настояли на том, чтобы идти в глубь России. Войско свернуло лагерь и двинулось по дороге на Орёл. Они заняли Севск, и царевич послал вперёд, под Кромы, Корелу с донцами, наказав ему держать крепость во что бы то ни стало. И в послерождественскую тёмную метельную ночь Корела незаметно провёл своих казаков через жидкое оцепление ратников Фёдора Шереметева на помощь гарнизону мятежной крепости. И смутно, но подозревал Заруцкий, что это надолго, что это капкан и они сами влезают в него. Да, подозревал, но и подбадривал своих куренников: «Крепись, станичники! Нигде казак не пропадёт!»

А Мстиславский оправился от ранения только через месяц. Годунов не стал выговаривать ему за оплошку на поле боя, учтиво осведомился о здоровье. Басманова же, вытравившего измену в осаждённом Новгороде-Северском, он вызвал в Москву. Из-за ранения тот ехал не верхом, а в санях, поэтому у Арбатских ворот его встретил царский возок Годунова. И так, на виду у всей Москвы, он проследовал в его возке до дворца. И там он, молодой, известный в Москве балагур, кутила и мот Петька Басманов, получил чин боярина, огромную надбавку к земельному окладу и две тысячи рублей деньгами. Старому же князю Никите Трубецкому и другим воеводам, отстаивавшим Новгород-Северский с немалым рвением, награды выпали далеко не те: всего лишь наградные золотые. С ними пригнал в войско молодой стольник²²

²² Стольник – придворный чин ниже боярского в Русском государстве XIII–XVII вв., а также лицо, имевшее этот чин

царя Юрий Сулешев, сын покойного Дж-ан-шаха Сулеш-бика, одного из беев касимовского хана Ураз-Мухаммеда.

Армию же Мстиславского пополнили московскими дворянскими сотнями. По грамоте Разрядного приказа Дмитрия Шуйского на полку правой руки сменил его старший брат Василий. И Мстиславский снова выступил против Вора. Морозно было и туманно, и снег скрипел под санями огромного обоза, когда войско Мстиславского подходило к Севску... 20 января Мстиславский подошёл под Севск и разбил лагерь в деревушке Добрыничи.

К тому времени войско царевича опять выросло до внушительных размеров. К нему пришли двенадцать тысяч запорожцев. Обросло оно и мужиками из Комарицкой волости. И на совете у царевича атаманы высказались за немедленное сражение. Они отменили всякие доводы о переговорах с Мстиславским. И там же было решено, что гетман Дворжецкий, выбранный войском на место сбежавшего пана Мнишки, повторит маневр Доморацкого.

И вот в новом сражении первыми в атаку пошли запорожские казаки, с визгом, криками понеслись на дворянские сотни большого полка... И большой полк стал прогибаться под их натиском... Вот теперь-то в дело вступили тяжёлые латники. Они ударили в полк правой руки Василия Шуйского.

И Шуйский стал медленно отводить свой полк, как они договорились с Мстиславским, открывая стоявшую позади него пехоту с пушками и иноземцев Маржерета и Розена.

Дворжецкий, ничего не подозревая, устремился в этот зазор между полками. А рядом с ним летел на коне царевич, Отрепьев Юшка. Он был в экстазе, опьянён, весь мир принадлежал ему... Он – цезарь! Нет равных на земле ему! И он ведёт свои полки к победе!..

Но тут перед ними на какое-то мгновение открылось село, ряды пехоты, пушки, мелькнул взмах флажка офицера... И в следующую секунду навстречу им ударил залп из десятка тысяч стволов и смахнул с коней передние ряды гусар...

Жаркое дыхание изрыгнувших огонь пушек долетело до Юшки, до «цезаря», и сорвало с головы у него шапку... Конь под ним споткнулся, заскакал, закособолил, захромал на одну ногу. Юшка наддал его шпорами, развернул и вырвался из сплошной мешанины людей и коней с одной лишь мыслью: быстрее, быстрее из этой ужасной бойни... Мощный поток конных подхватил его и понёс назад от деревушки.

Бегство гусар, за ними и запорожцев, было всеобщим. Дворянская конница пошла в преследование и довершила начатое пехотой. У царевича вырубили всех пеших и пушкарей и долго гнали конных.

А впереди всех уходили латники. С ними бежал и сам «цезарь». Тот, расвирепев от этого очередного поражения, нагнал какого-то бегущего казака и рубанул его, срубил сплеча, вымешивая на нём свой страх, кляня себя, что связался с Мнишками и с этими... гусарами!..

Дворжецкий осуждающе посмотрел на него и смолчал. Гусары же возмутились. А Юшка бросил запорожцев и накинута теперь с бранью на них, стал поносить их и их «матку бозку»... Гусары, взвинченные и обозлённые не меньше его, наскочили на него... И пошло, пошло, саблями!.. Вмешался Дворжецкий, с трудом унял распалившихся латников. И те взбешёнными покинули царевича и двинулись вместе с запорожцами к границе, дорогой на Путивль. Юшка же повернул с кучкой своих приверженцев к Рыльску.

Подьячие московских приказов несколько дней были завалены работой, подсчитывая трупы неприятеля. А их всё свозили и свозили со всех сторон и сбрасывали в огромные могилы. В росписи потерь царевича, отправленной на Москву, указали свыше одиннадцати

(первоначально придворный, прислуживавший за княжеским или царским столом, дежурил и у царской комнаты); стольники несли военную и приказную службу «в товарищах» при старших представителях администрации. Бик – означает принадлежность к высшей знати в Крыму; карачи, или карачей, – в узком значении – главы (бии, князья) знатнейших крымских родов: Ширин, Барын, Аргын, Кипчак, Мангит (Мансур), Седжеут. В более широком смысле карачеями назывались вообще ближние люди крымского хана.

тысяч убитыми. Из них только запорожцев было не менее семи тысяч. А вперёд росписи на Москву угнал с сеунчем²³ Михаил Шеин, войсковой голова из полка Василия Шуйского. Он гнал лошадей и знал, что не только везёт Годунову весть о победе, но и едет за своим окольнымничеством... Уж такова была тогда традиция...

Мстиславский же пошёл по следам разгромленного царевича, подошёл к Рыльску и обложил его. К тому времени Юшка уже сбежал оттуда в Путивль. В городе же был другой воевода, князь Григорий Роща-Долгоруков, не менее упрямый, чем сам Фёдор Иванович. Долгоруков в числе первых воевод целовал крест царевичу. Осознавая, что назад пути нет, он заперся в городе. И ни жители Рыльска, ни служилые не поддались на уговоры Мстиславского сдаться на милость Годунова. Они были напуганы погромом Комарицкой волости карательными отрядами из Москвы. Те прибыли в волость с собаками и егерями и перевешали по многим деревьям всех – от мала до велика.

Фёдор Иванович Мстиславский был уже в годках, умудрённый жизнью. Как глава Боярской думы он брал на себя порою много в государевых делах. Вот и сейчас, простояв две недели под строптивым городком, он своевольно двинулся к Москве, чтобы там распустить до лета войско.

* * *

В это время через Путивль несколько дней разрозненными группами шли полки разбитого войска царевича. Они уходили за российские рубежи. Там исчезли и запорожские казаки. Сам же Юшка засел в крепости на воеводском дворе, никого не пускал к себе. И управление его войском взяли на себя Тышкевич и Бучинский, его ближайшие советники. Первым делом они выслали дозорных наблюдать за передвижением Мстиславского. И когда те донесли, что большой воевода пошёл назад, вглубь Московии, они стали устраиваться на зимовку в Путивле.

В ротах наёмников оказалось немало раненых, появились больные. И у войсковых капелланов, Николая Цыровского и Андрея Ланиция, прибавилось забот. Подкинул их и царевич. Он как-то вызвал капелланов к себе в крепость.

– Господа, патер Савицкий приставил вас к войску для духовных бесед и таинств исповеди. Что вы делаете, весьма усердно. Войско войском, но и я желаю видеть вас у себя чаще!.. Прошу также оказать помощь в просвещении моего народа. Правда восторжествует, господа! И я, как на то указано волею небес, буду царствовать по смерти моего брата, великого князя Фёдора Ивановича... Да, да, указано, – задумчиво добавил он.

Тем временем дворовые холопы накрыли стол. На обед к царевичу пригласили Тышкевича, Бучинского и Меховецкого. К столу пожаловал и князь Василий Мосальский с воеводой путивльского гарнизона Юрием Беззубцевым. Царевич, продолжая изливать свои планы капелланам, прошёл с ними к столу, наигранно удивился: «Как – уже вино и жаркое подали!»...

В разгар застолья в горницу вошёл дворецкий Григорий Микулин и доложил: «Государь, пришли вести: в Белгороде восстали служилые, повязали воевод и прислали их сюда! На твою милость, государь!»

– Веди! – крикнул царевич, вскочил с места и бросился было к двери, но одумался, вернулся и опять уселся в кресло.

За столом стало тихо. Все ждали появления пленников, гадая, кого же увидят на этот раз.

В горницу опять вошёл дворецкий. За ним вошёл подтянутый молодой человек с курчавой бородкой и румянцем на щеках. Вошёл и ещё один, среднего роста, обыкновенной наружности, но в ярком парчовом кафтане.

²³ Сеунч (ср. др. – *тюрк.* sevünč, sevünč – радость) – известие, весть (преимущественно радостная), донесение.

– Ваша светлость, – обратился дворецкий к царевичу, – позвольте представить чашника князя Бориса Лыкова и думного дворянина Гаврилу Пушкина!

Да, это были белгородские воеводы Лыков и Пушкин. Они молча настороженно уставились на царевича, уже наслышанные всякого о нём...

– Господа, прошу к столу!.. Прощу, прошу! – доброжелательно заговорил тот и показал жестом на лавку. – Будьте у меня гостями! Я рад принимать вас, хотя вы здесь не по своей воле!

Воевод усадили на краю стола. И Микулин поднёс от имени царевича кубок вина сначала Лыкову: «За здоровье великого князя Дмитрия Ивановича!»

Лыков встал из-за стола, на мгновение встретился взглядом с Мосальским. Тот сочувственно качнул головой, как-то непонятно, но уж больно выразительно. И князь Борис не стал колебаться: принял кубок, поднял его за здоровье великого князя Дмитрия, выпил и низко поклонился самозванцу. Его примеру последовал и Гаврила Пушкин.

Царевич повеселел, отпустил воевод, но приказал им завтра же пожаловать к нему в замок, как называл он захудалую крепость вот здесь, в Путивле, на окраине Московии.

Возбуждённый этой встречей с воеводами Годунова, царевич пустил по кругу чашу вина. У него вновь появился в глазах прежний огонёк, потухший было после бегства из-под Добрыничей. И опять он повёл пространные речи о том, что враг всего христианского мира – турецкий султан, и вот цель, достойная великого московского государя, она прославит его на века. И как только сядет, мол, он на отеческий престол, тотчас же направит послание королю Польши, австрийскому императору и французскому королю: объединит их на поход всем христианским миром против Поднебесной, которая угрожает порабощением всей Европе...

– А тебя, патер Андрей, я пошлю в Рим! – огородил он вдруг отца Ланиция.

От такого неожиданного его хода на аскетически бледном лице капеллана проступил румянец смущения.

– Ваша светлость, он мечтал о миссионерской службе в далекой Индии, – сказал отец Николай за своего оробевшего молодого собрата.

Об этой юношеской мечте отца Андрея знали лишь избранные. И сейчас отец Николай выдал его с головой именно царевичу, которым тот втайне восхищался и искал в нём черты героев из прошлого.

– Так ли оно? – спросил царевич отца Ланиция.

– Да, ваша светлость, – тихо ответил капеллан и добавил: – Но Господь Бог счёл нужным лицедреть меня в не менее загадочной Московии.

– Патер Андрей, насмотришься на Московию, насмотришься! И на монахов её насмотришься! – ухмыльнулся царевич. – Ленивых, заживевших! А уж пьют-то! Чарке молятся! Ха-ха-ха! – расхохотался он. – Все пороки людские там, по монастырям, собрались! Так что Индию свою ты зря променял на Московию!..

– На всё воля Божья, – смиренно отозвался отец Андрей, склонив голову под взглядами сидевших за столом.

И Юшка невольно заметил, что у молодого капеллана отрастает реденькая бородка. Ну совсем как у послушника из Спасо-Ефимьевского монастыря. С тем он познакомился, когда только-только постригся, после того как бежал со двора князя Черкасского, где служил дворецким. Он спасался от погрома Годуновым боярских дворов Романовых и их родственников, в том числе и Черкасских. И постригся он только для того, чтобы вернее спрятаться от царских сыщиков, рыскавших повсюду, отлавливая беглых боевых холопов Романовых и Черкасских. Он боялся показаться где-либо в одиночку. И чтобы не привлекать внимания чужих глаз, он затесался в среду монашеской братии, всегда ходил с кем-нибудь из иноков. Знал он, по рассказам деда Замятни, что Грозный поголовно истреблял боярскую дворню, если вставали на защиту хозяина, оказывали сопротивление государевым стрельцам. А чем Бориска-то лучше?.. Немного отошёл он только в келье у деда Замятни, в Чудовом монастыре. Правда, и там не

задержался. Вскоре попал в переписчики к патриарху Иову. Всё из-за того же: Господь Бог наградил рукой твёрдой, умелой, изящно выводившей письма. Иногда оказывался в свите патриарха, бывал с ним и у государя на сидениях. Глаз не поднимал, но видел всё, приглядывался, слушал, запоминал речи Годунова: яркие, заманчивые, порой тревожные, интуитивно чувствуя, что они ещё когда-нибудь пригодятся ему...

Отпустив своих советников, он вышел из приказной избы с Бучинским и Меховецким. И они пошли к Молченскому монастырю, расположенному тут же, в городских стенах. Там, у дверей церкви во имя Спаса, Меховецкий оглянулся, посмотрел, нет ли поблизости кого-нибудь из посторонних.

– Всё чисто, – сказал он. – Идёмте...

И они быстро заскочили в церковь.

Там было тепло. Тогда как на дворе стоял, пощипывал мороз.

Войдя в церковь, Меховецкий даже не взглянул в сторону иконостаса, возвышавшегося посреди храма под самый его почему-то низкий потолок. Он уверенно завернул налево, где был закуток для просвирницы.

А он, Юшка, пошёл за ним. Позади него, также молча, последовал Бучинский.

Они прошли к боковому приделу. Там была лестница. Она вела на второй этаж церкви, как сразу же сообразил он, Юшка, обратив внимание на низкий потолок храма. И они поднялись по этой лестнице на второй этаж.

Поднявшись туда, они увидели ещё один храм со своим иконостасом в глубине просторного помещения. Но и тут они не пошли внутрь помещения, снова свернули налево, прошли пару шагов и остановились у небольшого шкафчика, плотно прилегающего к стене. На этом шкафчике, на его полках, лежали свечи, стояло медное позеленевшее до черноты старое кадило, валялись ещё какие-то перья и всякая иная церковная рухлядь.

Но Меховецкий, бросив на царевича лукавый взгляд, ухватился одной рукой за бок шкафчика и потянул его на себя... Шкафчик странно скрипнул, словно приветствовал его как старого знакомого, и повернулся вокруг другой своей боковой стенки. И там, за ним, оказалась не стена храма, как ожидалось, а открылся проход. Квадратный, чуть меньше размером скрывающего его шкафчика, он темнел загадочным провалом.

И эта темнота, загадочность происходящего приковали взгляд Юшки. У него что-то дрогнуло в груди, когда ему показалось, будто кто-то приглашал его туда, в это таинственное тёмное нутро с застойным воздухом, пропахшим мышами...

Ему нравилась, увлекала таинственность: в делах, одежде, разговорах при недомолвках, на сборищах... Особенно же вот так, как сейчас, когда была настоящая тайна. Её не нужно было выдумывать, притворяться или играть в неё...

Ход был очень узкий и низкий. Поэтому Меховецкий, с его немаленькой фигурой, согнулся чуть ли не пополам, когда шагнул в этот проход.

Юшка последовал за ним. Шапка на его голове чиркнула о низкий потолок, и он чуть пригнулся и пошёл боком, задевая широкими плечами стенки. За ним сзади запыхтел Бучинский.

Коридорчик, по которому они пошли гуськом, постепенно поднимался вверх, ступенька за ступенькой из кирпичей, ещё не стёртых, как новеньких, по ним, похоже, ходили редко. Заворачивая направо, он описывал, как понял Юшка, плавную дугу вокруг ротонды верхнего этажа церкви, находясь внутри её толстой стены.

Они прошли десятка два шагов и вступили в довольно просторную и светлую комнату. Правда, она была тоже с низким потолком.

Эта комната, как он догадался, находилась под самым церковным куполом. И с земли было незаметно, что там, наверху, есть помещение. В этом он убедился на следующий день,

стараясь разглядеть снизу, с земли, хотя бы намёк на то, что там, под самым куполом, находится тайное помещение.

«Как у самого бога за пазухой!» – мелькнуло у него; он был в восторге...

По форме комната напоминала восьмигранную призму, на которую сверху насадили полусферический купол.

– Кто ещё знает об этой комнате? – спросил он Меховецкого.

– Только игумен...

Заметив удивление на его лице, Меховецкий стал оправдываться:

– Да нет же: я верю ему! Если он сказал, что никто, кроме него, то уж точно! Никто из монахов! Я сам в прошлом как-то прятался здесь! Ха-ха!..

Юшка, улынувшись на это непонятное веселье полковника, покачал головой, прошёлся по комнате. Затем он выглянул наружу поочерёдно во все три окна.

Отсюда, с подкупольной высоты, было видно далеко. Эти окна глядели на три стороны: на восток, запад и юг, где был Сейм, сейчас закованный в лёд. На север окна не было. Там, за городскими стенами, за крохотной речкой, простиралась заснеженная равнина. А далее виднелась полоска леса. Там начинались тёмные брянские дебри.

– Здесь есть ещё и другой ход, – снова заговорил Меховецкий. – Мы его прошли в том коридорчике. Там, на левой стороне, заметил, наверное, тёмное пятно. Это тоже дверь. Она ведёт в нижний храм, а оттуда уже наружу...

Слушая его, Юшка осмотрелся. Внутри комнаты, в одном из её причудливых восьми углов, виднелось ложе для отдыха. Неподалёку от него стояло кресло. На него он сразу обратил внимание, поскольку оно напомнило ему имение пана Мнишки. Там, в гостиной, тоже стояли такие же кресла готического стиля... Кресло это было искусно вырезано из цельного орехового дерева. У него были инкрустированные спинка и ножки, покрытые позолотой. Оно было большое и массивное, так что он сразу утонул в нём, когда уселся.

Впервые за последние несколько месяцев он почувствовал под собой мягкое сиденье, а не жёсткие лавки в приказных избах или такое же жёсткое седло в те дни, когда не слезал с коня с утра до вечера. Широкая, несколько откинувшаяся назад спинка приняла его в свои объятия. И он отвалился на неё и положил свои грубые и сильные руки на подлокотники кресла, обитые той же неопределённого цвета материей, как сиденье и спинка.

Меховецкий же и Бучинский сели на лавки, что стояли подле стола посреди этой небольшой, но уютной комнаты.

Кресло, в которое он сел, казалось, было предназначено именно для него. Словно кто-то предусмотрительный принёс и поставил его здесь, зная, что он появится в этой комнате... Усевшись в него и расслабившись, он обвёл взглядом своих советников. При этом его глаза невольно, краем, захватили что-то в тёмном углу, где должно было быть ещё окно, выходящее на север, но его не было. Там, в полумраке, темнела какая-то фигура неподвижно стоявшего маленького человека... И он, вздрогнув, резко повернулся в ту сторону...

Но там никого не было. Там не было человека. Там, в этой странной комнате, находился ещё один предмет. На него они как-то не обратили сразу внимание.

Терновый венок, на лице муки... У кого может быть ещё такое лицо!.. Это была статуэтка Христа...

Он сразу догадался об этом, взгляделся в эту статуэтку, и его невольно покорило: фигура была безобразной, грубой... И он понял, что она специально была сделана такой, чтобы шокировать, произвести неприятное, отталкивающее впечатление... Одета в длинные, до пят, одежды, она выглядела даже здесь, в храме, нелепо, убого, вызвала тягостное чувство... Мельком пробежав глазами по деревянной фигуре, он остановил взгляд на её лице. Оно было жалкое и в тоже время страдальческое, сейчас созвучное его душевному состоянию: побитого,

отринутого всеми... И эта статуэтка, то же необычная, почему-то была здесь, в этой необычной комнате.

Вид этой безобразной статуэтки подействовал странно на него. Он порывисто встал, подошёл к ней и преклонил колена... На несколько секунд он замер.

За его спиной, как ему показалось, кто-то хрюкнул... Прошептав молитву, он поднялся, снова сел в кресло и посмотрел на Меховецкого... У того на лице сияла язвительная ухмылка.

Меховецкий отлично знал, что он равнодушен к католиком, так же как и к православным, да и вообще не был набожным. И вот этот его порыв был непонятен сейчас, наедине с ними, когда не было ни публики, ни толпы и можно было не притворяться... Здесь были только свои...

Бучинский же тем временем взирал на всё бесстрастно. Он считал, что всё должно быть так, как есть, как идёт.

Оглядев ещё раз своё новое жильё, точнее убежище, Юшка снова заговорил о том, о чём уже была речь у него в приказной избе с его русскими сторонниками.

– Что же делать? – спросил он Меховецкого и Бучинского. – Уходить обратно в Польшу?!

Но это было бы явным признанием своего поражения в том деле, какое он затеял. Однако сейчас ему было не до тонкостей. Его русские сторонники, хотя бы тот же Мосальский, и те, что примкнули к нему ещё в Польше, уже намекнули ему, что если он задумает что-нибудь подобное, то они попросту свяжут его и выдадут тому же Годунову, чтобы так оправдаться самим...

– Да нет, не бойся, – успокоил его Меховецкий на этот счёт. – Они напуганы. Их можно понять... А вот дело бросать не стоит. Заметно же было и под Новгородом-Северским, да и под Добрыничами, что русские неохотно дерутся за Годунова.

– Мстиславский проиграл бы под Добрыничами! – стал оправдывать Бучинский их поражение. – Если бы не немцы Маржерета! Этого сукиного сына, француза!..

– Ладно, хватит плакать! – сказал Меховецкий, ставя на стол водку, которую захватил с собой. – Давайте-ка выпьем и займёмся делами!

Бучинский поддержал его, раскрыл сумку, с которой пришёл, положил на стол закуску.

Они выпили по чарке. Затем ещё. После этого они стали обсуждать, что следовало бы сделать в первую очередь здесь. Было решено опять вернуться к тому, что уже делали перед походом: разослать по всем волостям Московии грамоты за подписью государя Дмитрия, призывать народ восстать против Годунова, захватившего наследный трон великого государя Дмитрия...

Утром же Юшка, снова почувствовав себя царевичем Дмитрием, встав, первым делом выглянул в окно, что выходило на юг. С той стороны были торги у городских ворот, на берегу Сейма. И отсюда, с высоты, сейчас было хорошо видно, как там уже всюду суетится народ.

Путивль был большим и богатым городом. Это он уже узнал, как-то раз уже по привычке потолкавшись в рядах на ярмарке. При этом, как всегда, он переоделся, чтобы его никто не узнал из простых людей. В нём уже сидела эта потребность: потеряться неузнанным о людей в толпе, кожей чувствуя присутствие их, в восхищении от своих вот таких проделок.

Поглазев сверху на эту оживленную толкучку, он прошёл к другому окну. Отсюда вид открывался на весь город, раскинувшийся на холмах со всеми крепостными постройками. Вот на одном-то из этих холмов и возвышался кремль. Он был каменный и отсюда, с высоты, производил впечатление неприступного. Всё было хорошо видно, как на ладони, на десяток вёрст, до горизонта. И эта открывающаяся ширь и высота разгорячили его. Он задыхался часто, озирая этот простор, жадно вбирая его глазами, всем существом своим, готовый ринуться отсюда, с высоты, в полёт громадной птицей, пугая и восхищая людей...

Пробежав взглядом по окрестностям с необычной для него высоты и почувствовав себя освежённым, он подошёл к образку, стоявшему на киоте.

Это был католический образок Божьей Матери с Младенцем Христом. Вокруг изображения шла надпись на польском языке: *Pocienszniesza na dcher v bi nychwaleniesza na dserapuiny rezskazy slowo bogarodzaca*²⁴. Внизу изображения тоже была надпись: *Obraz c v dow nyp: mariey w zyrowicach w xicii w elitew*²⁵. Образок был вставлен в деревянную рамку, с золочёными украшениями и походил на обычную русскую иконку.

Этот образок подарила ему Марина, когда он уходил походом в Россию. И он не расстался с ним, принёс с собой и сюда.

– Она будет хранить тебя, – сказала она, вручая ему образок...

Он вспомнил Марину, коснулся губами краешка деревянной рамки, не смея касаться самого образа... На душе стало немного легче. Всё же есть одна, которая искренне ждёт его...

Выглянув ещё раз в окно, что выходило в сторону ярмарки, он заметил там большую толпу. И похоже, она волновалась... Заинтересованный этим, он спустился вниз и вскоре был в воеводской избе.

Там уже были Меховецкий, Тышкевич, Мосальский, Борис Лыков и даже Гаврило Пушкин.

– Что происходит на торгах? – спросил он их.

– Да так – мелочи! Волнуется народ! – отмахнулся от этого Меховецкий. – Давайте перейдём к делу, которое обсуждали вчера!

* * *

В то время когда Отрепьев с восторгом проникал в тайны церкви во имя Спаса в Путивле, в ответ на отход Мстиславского от Рыльска из Москвы к нему, к князю Фёдору в войско, прибыли окольный Пётр Шереметев и думный дьяк Афанасий Власьев. Вопрос царя был грозным: «Почему отошли?» Наказ Годунова, жёсткий, гласил: войско не распускать, города, подавшиеся Вору, отбить, виновных воевод и служилых наказать...

И Фёдор Иванович, после того как гонцы уехали назад в Москву, стал выполнять государев указ.

Когда весть о том, что придётся стоять до конца зимы в поле, прокатилась по полкам, там началось брожение. В таком состоянии огромное войско Мстиславского подошло под Кромь на другой день после Масленицы.

На носу была весна. Уже начало припекать солнышко. И всё шло к тому, что вот-вот всё поплывёт и крепость окажется неприступной. Городок Кромь стоял на вершине холма. С одной стороны его защищала крутым яром река, когда-то бывшая кромною, пограничной Северского княжества, отчего городок и получил своё название. Со всех других сторон его окружали болота. И в тёплое время года на вершину холма можно было попасть только со стороны реки: по узкой дороге, вырубленной в глинистом береговом обрыве.

И это подстегнуло воевод начать штурм, пока стоят морозы, ещё до подвоза пушек. Ночью под стены городка подобрался отряд передового полка со вторым воеводой Михаилом Салтыковым. Они, запалив порох, подожгли острожную стену. Когда она занялась, донцы Корелы, не в силах помешать этому, отошли под защиту крепости. Туда же отошли оставшиеся в городке посадские и служилые.

Стена прогорела и рухнула. В образовавшуюся брешь сунулись было наступающие, но донцы ударили по ним из самопалов, и те откатились назад.

Подули тёплые ветры. Пришла по-настоящему весна. На несколько недель крепость полностью отрезало от войска Мстиславского.

²⁴ «Честнейшая Херувим, славнейшая без сравнения Серафим, без исления Бога Слова рождающая».

²⁵ «Чудотворный образ Божией Матери в Жировницах в области Ливонской».

И донские казаки радостно зашевелились. Однако радость их оказалась недолгой. К войску Мстиславского подтащили пушки, и из-за реки полетели ядра. За неделю обстрела ядра начисто снесли стены. И казаки зарылись в землю. К тому времени спала вешняя вода. Даточные навели на реке наплавной мост из лодок, и снова возобновились атаки с обстрелом из орудий. И всё это посыпалось на них, на казаков.

Казаки, чтобы защититься от этого, покрыли городок сетью траншей, поделали окопы и норы, где и отсиживались. Но как только затихала канонада, они вылезали из-под земли, занимали оборону и встречали наступающих огнём.

А куренники Заруцкого отрыли себе и атаману большую землянку, одну на всех, и зажили в ней, промышляя в лагере у Мстиславского. Там скопились большие припасы съестного в стане мужиков, торговавших на базаре в войске Мстиславского, на той стороне реки.

Как-то ночью Бурба ушёл с казаками за реку на плотике. Вернулись они уже под самое утро и бросили под ноги Кузе два огромных телячьих окорока: «Будет тебе – всё завару да завару!»

Заруцкий обнял Бурбу: «Ай да есаул!»

Бурба был среднего роста и какой-то весь из себя неприметный и серый, как поношенные сапоги. Не то что он, Заруцкий. Он всегда ходил в ярком кафтане, с персидской саблей на боку и золотой серьгой в левом ухе. В этом же наряде он ползал в грязи по окопам и траншеям. Изодрав его, он добывал себе другой, удивляя станичников обновкой. А Бурба притягивал тех чем-то иным. Заруцкий чувствовал это и ревновал к нему казаков.

В тот раз дело за Кузей не стало. И впервые за последние два месяца казаки наелись мяса от пуза. Одобрительно похлопав по спине кашевара, они отвалились от котла и расползлись по лежанкам пьяные от сытости.

У станичников Кузя кашеварил бессменно. Ничего иного делать он не мог: у него не было кистей обеих рук. Но он ловко орудовал культяпками с черпаком у котла. Руки он потерял «в турках». Там, сбежав с галеры и голодая, он стал воровать. Его словили – отрубили кисть на одной руке. Он отлежался, ожил. Голод подтолкнул его на то же. Его опять поймали – отхватили вторую кисть...

– Кузя, вот сробим денежку у царевича и отправим тебя в монастырь, – завели казаки свою излюбленную байку с подначкой кашевара. – Сложимся на заклад. И будешь ты жить у Предтечи и Николы!

– Удавлюсь я там, брательники! – стал размазывать Кузя по щекам слёзы, умиляясь заботой казаков о себе.

Он плакал часто, охотно: для отвода души. А станичники помогали ему в этом – от скуки.

– Ослобоним Москву царю природному и пойдём Доном отымать Царьград у басурман! – зашёлся криком Кузя, переполненный любовью к своим товарищам, казакам. – Куда им супротив казаков-то!.. Эх-х-ма-а!.. Ой, корчма, корчма-княгиня! Богато в тебе казацкого добра сгинуло! – пустился он вприсядку, махая культяпками...

Казаки весело загоготали. А Кузя, уgomонившись, подсел к Бурбе. И тот, наклонив к нему голову, стал внимательно слушать его болтовню.

– Бурба, ты не бросай меня, – умоляющим голосом зашептал Кузя. – Ежели Заруда погонит – возьми к себе!.. Нет у меня никого, кроме вас, брательники, – захлопал он носом. – Один я на белом свете, как перст. А кому нужен вот с этим-то?! – громко выкрикнул он и потряс, со слезами на глазах, культяпками. – Ни робить, ни бабу обнять!

Казаки поскуцнели, отводя в сторону глаза.

А Кузя снова прилип к Бурбе и горячо зашептал:

– А я тебе поведаю, как повоевать Царьград! Гроб Господень ослобонить от басурман! Я ж, когда там был, всё выглядел!.. Ты только Заруде – ни-ни! А то он и на Москву не пойдёт, сразу на Царьград!

Бурба обнял Кузю, прижал к себе, погладил по его курчавой смышлённой головке.

А тот, выплакавшись, утёрся рукавом сермяги, просветлел лицом и затянул песню: «Как пойдём на Волгу, Волгу матушку реку!..»

Казаки в землянке поддержали его.

* * *

В Путивле Борис Лыков и Гаврила Пушкин целовали крест на верность царевичу. За это Лыков получил у него окольниковство и поступил к нему в свиту вместе с Пушкиным.

В течение месяца Путивль перевидал ещё немало воевод из порубежных степных крепостей. Их, повязанными, присылали мелкие служилые ему, царевичу. Они восстали против власти Годунова и ударили челом самозванцу. Оказался среди них и воевода Татев из Царева-Борисова со своим вторым воеводой Дмитрием Турениным. Лыков встретился и переговорил с Борисом Татовым. И тот принял тоже сторону царевича: стал ходить у него чином в боярах.

Гарнизон Путивля увеличивался изо дня в день. И царевич снарядил несколько сот казаков на помощь Кореле. Вместе с ними под Кромы, в войско Мстиславского, ушли тайные гонцы, отправленные туда Татовым и Лыковым к Василию Голицыну и Прокопию Ляпунову. Замысел их, предложенный царевичу, был прост: перетянуть на свою сторону бояр под Кромами и вместе с ними войско Мстиславского.

– Капелланов, капелланов сюда! – восторженно вскричал царевич от этого предложения, опять вспомнив своих капелланов, забытых было.

Капелланов ввели в съезжую избу. Они переступили порог горницы и увидели государевых думных, советчиков: князя Мосальского, Татева, Лыкова и Гаврилу Пушкина. Те сидели на лавках с постными лицами – все утомились от речей царевича, не нужных никому из них.

– А-а, вот и мои дорогие отцы! – восклицанием встретил их тот, подскочил к ним и, азартно потирая руки, заходил вокруг них. – Ах как хорошо! Хорошо, что вы, к счастью, здесь!.. Господа! – с жаром обратил он к ним лицо и просиял улыбкой, лукавой и непосредственной. Он хотел обрадовать их чем-то и торопился. – Господа! – повторил он. – Достойные государи должны обладать знаниями в военном искусстве. А ты учил меня, что и в науках тоже! – дотронулся он рукой до плеча отца Николая, который был намного выше его ростом, и хотел было покровительственно погладить его, но передумал, отвёл руку. – Дабы просвещать невежественный народ! Да, да – вот великое дело!.. Не так ли?!

Отец Николай пробурчал что-то, сожалея, что наговорил ему когда-то лишнее, и сразу же почувствовал, как неуютно тут, у царевича.

– Поэтому будете давать мне уроки! – глотая слова, мгновенно подвёл итог своим мыслям царевич.

– Но, ваша светлость! – сражённый этим, всполошился отец Николай. – Ваша светлость! – повторил он и, протестуя, вскинул руки: мелькнули фалды длинной рясы, и он стал выкручиваться, странно, всем телом. – Это не делается просто так!..

Затем он немного успокоился и начал собирать, вылавливать в опустошённой голове какие-то мысли, обрывки фраз, стал склеивать их, чтобы разумно отбиваться от вот такого...

– Это даётся годами труда! Найдётся ли у вашей светлости на это время? Да и сами мы не так учёны для просвещения вашей светлости! И не осмелимся на это!

– Никаких но! – отрезал царевич. – Начнём сегодня же, не откладывая!

– Ваша светлость, в просвещении народа сдержанность нужна немалая, – юлил и юлил отец Николай. – Мудрый Авиценна говорил: опасно разрушать у простого народа естественное единство восприятия мира. Знания, науки – не для всех благо! Они насаждают пороки в умах, кои увидят во всём мере, число и вес... В этом пагуба для народа выйдет великая!..

Но царевич жестом остановил его, как будто хотел закрыть ему рот. Увидев же в руках у отца Ланиция книгу, он показал пальцем на неё: «Патер Андрей, открывай, читай вслух и объясняй!»

– Сие произведение мыслителя древних греков Платона. Оно трудно для усвоения неподготовленного ума! – ещё раз извернулся отец Николай.

«Ох, боже мой! Что же делать-то?» – мелькнуло у него.

– Тогда читай ты, патер Николай! – выпалил царевич, сверкнув гневно глазами.

Капелланы переглянулись, заметили удивление и на лицах русских. Цыровский помедлил, но всё-таки взял у отца Андрея трактат и раскрыл его. Стал читать. Прочитав, он объяснил смысл:

– Платон есть мыслитель догматический. Догма же есть название двоякое. Она есть и то, что мнимо, и само о том мнение. То, что мнимо, есть данное, само же мнение есть предположение...

Царевич встал с лавки, снял шапку и повторил: усердно, не сбиваясь, слово в слово. Лёгкость, с какой прошёл первый урок, вдохновила его. И он тут же решил отдаться философии и грамматике.

– Господа, не будем терять время! Завтра жду вас у себя! – заторопился он, стал выпроваживать гостей, чтобы остаться одному и сесть за письмо к своей возлюбленной, Марине Мнишек, написать об очередной своей победе, теперь уже в науке...

Капелланы ушли от него сильно озадаченными: как им быть, как обучать не совсем обычного школяра, который захотел одним махом покорить вершины всех наук.

Отпустил царевич и Лыкова с Пушкиным.

– Чудно это всё, Борис Михайлович, – тихо сказал Гаврила Григорьевич Лыкову, выйдя за ним из избы. Он всё больше и больше удивлялся выходкам рыжеватого, неестественно безбородого царевича, как будто это был большой ребёнок. – Царевич ли это?

– Сейчас царевич, Гаврила Григорьевич, царевич, – многозначительно произнёс Лыков и похлопал его по спине: мол, дай срок...

Страхи капелланов оказались напрасными. Среди русских свиты царевича пошли разные толки о его частых встречах с иезуитами. И он поспешно, с облегчением бросил занятия: упорный труд наскучил за три дня ему. Он, Юшка, рождён был не для него.

А по неисповедимым путям Провидения в тот же день, в субботу, на неделе Святых жён-мироносиц, в Москве скончался от апоплексического удара Борис Годунов.

* * *

Под Кромами же на Аринин день с утра было тихо. Донцы привычно повылезали из нор и землянок, приготовились отразить атаку. Но на наплавном мосту и под крутым яром никого не было. Атаманы забеспокоились, ожидая какого-нибудь подвоха со стороны неприятеля. Однако время шло, а на мосту так никто и не появлялся. В лагере же, за рекой, была видна какая-то необычная суматоха. Так, в беспокойном ожидании и тишине, прошёл день. Ночью Заруцкий сходил с казаками на вылазку, привёл языка, и в крепости узнали о смерти Годунова и о срочном вызове в Москву Мстиславского и Шуйского.

А на следующую ночь в городок пробрался из лагеря лазутчик. Говорить же он согласился только с Корелой и сообщил ему, что в лагере назревает мятеж и готовят его Голицыны и Ляпуновы. Они уже тайно целовали крест царевичу и просят поддержать их, как только в войске начнётся волнение. И ещё просят Корелу: послать своего человека, кому тот доверяет и на кого они могли бы сослаться, если столкнутся с донцами.

– Вот он, Ивашка, пойдёт! – показал Корела на Заруцкого. – Добре храбр атаман!..

Стояла тёмная безлунная ночь. В огромном военном лагере было тревожно. На чужих, захожих людей уже давно никто не обращал внимания.

Заруцкого и Бурбу провели к палатке, где их уже ждали.

В палатке тускло горела всего одна свечка, выхватывая из темноты лица людей, настороженно встретивших донцов. Сколько их было на самом деле, Заруцкий не разглядел. За столом, подле свечки, сидели четыре человека. С ним же заговорил Василий Голицын. Он сообщил ему, что они уже условились обо всём с царевичем и его советниками, Татевым и Лыковым, и теперь хотят сдать им войско. После него говорил Прокопий Ляпунов: долго, подробно и нудно объяснял ему что-то...

«Захватим наплавной мост – дадим вам знак», – единственное, что застряло в памяти у Заруцкого.

У Прокопия была реденькая, с рыжинкой, бородёнка. Он называл сигналы и пароли своих доверенных людей, как они выглядят, где будут стоять и куда и когда идти донцам. Он высыпал на Заруцкого и ещё уйму каких-то ненужных мелочей. Так что тот всё тут же и забыл. Говорил он быстро, взхлёб, глотал слова и пускал слюну, ну совсем как та старая усатая татарка...

«Хм! Горазд, однако!» – молча хмыкнул атаман; он впервые в жизни столкнулся с таким мужиком.

– Понятно? – спросил его Голицын.

– Ладно, господа, – согласно кивнул головой Заруцкий. – Передам Кореле.

Их проводили назад до наплавного моста и отпустили.

А через три дня в лагерь под Кромы прибыло новое командование войском. Вдовая царица Мария Годунова²⁶ и её сын, государь и великий князь Фёдор Борисович, указали по новой росписи быть на большом полку боярину князю Михаилу Петровичу Катырёву-Ростовскому. На сторожевой полк прислали Петра Басманова. Василий Голицын переходил на полк правой руки. На передовом полку его сменил Иван Годунов. С Катырёвым и Басмановым приехал и Новгородский митрополит Исидор. И в тот же день они привели войско к присяге новому, юному царю Фёдору Борисовичу Годунову. А тому-то от роду было всего шестнадцать лет...

Не обошлось и без местнических тяжб. Князь Михаил Кашин, второй воевода в полку правой руки, отказался подчиниться новой росписи по полкам и принять присягу. На съезде воевод он не появился и бил челом царю на Петра Басманова, что быть ему меньше того никак неуместно.

До Катырёва быстро дошли слухи, что шёпотом передавали по лагерю. И князь насторожился, заподозрил что-то неладное. Он поскорее выпроводил из лагеря митрополита, подальше от греха, и тут же вызвал к себе Басманова. Переговорив с ним, он дал ему наказ крепить веру в нового царя и досмотреть, кто разносит по войску изменную заразу. Да словил бы он зачинщиков и выслал на Москву, к Семёну Годунову, на его Пыточный двор. А там, в подвалах Пыточного, быстро всё выведывают. Не будь он, Семён Годунов, троюродный брат покойного царя, его правым ухом. Все тайны государевы он, Сёмка, знал вперёд самого государя. В подвалах у него исчезли навсегда многие людишки...

– Михаил Петрович, да уж и так, без наказа дело крутится, – ответил Басманов. – Слово давал ещё царю Борису, изловить того Вора. А на слове Басмановы крепки стоять. Ещё с деда моего, Алексея Даниловича, казнённого по навету Малюты! – выразительно нажал он на последнее.

²⁶ Мария Годунова – жена Бориса Годунова, старшая дочь боярина Григория Бельского, известного в истории как Малюта Скуратов. Малюта – его личное прозвище, видимо, данное из-за невысокого роста; Скуратов – семейное прозвище, а Бельские – их родовое прозвище.

– Тут о государе идёт речь! – забеспокоился Катырёв. – Ты это, Пётр Фёдорович, зарубку сделай: государево дело, перво-наперво дело!

– То ж и я говорю, – снисходительно согласился Басманов, чтобы не спорить со стариком.

– Пётр Фёдорович, и ты уж как пристяжная! – насупил брови и подозрительно глянул Катырёв на него.

Они расстались, недовольные друг другом. Однако Басманов пересилил себя, всё-таки взялся за розыск крамолы в войске.

Василий Голицын, встревоженный его деятельностью, сразу же пригласил его к себе в полк. И Басманов не осмелился отказать ему: своему двоюродному брату по матери, старшему и по возрасту, и по «лестнице». Голицыны приняли его по-семейному: усадили за стол, угостили водочкой. Князь Василий стал осторожно выпытывать у него, что же он успел узнать о воровском деле в лагере и как решил поступить, если выявится измена великая.

Басманов отвечал уклончиво, собирался отмолчаться. Да не таков был князь Василий, чтобы отпускать всё на волю случая или Господа Бога. Напомнил он удалцу и щёголю, что Малюта Скуратов был повинен в смерти не только его деда, но и отца, Фёдора Алексеевича.

– На нём их кровь! – сказал он так, что Басманову стало ясно, как он ненавидит земского царя, его семейство, всех его родичей.

– Купил он тебя за две тысячи! – кинул ему в лицо князь Андрей и словно припечатал этим.

– Андрей Васильевич, ты размысли, что говоришь! – хмуро взглянул Басманов на него, не желая сносить оскорбительную насмешку. – Думаешь, не знаю, что тут затевается? – спросил он его. – И кто всем заправляет?

– А раз знаешь, почему не донесёшь? – заговорил князь Иван. – Беги говори царице с её сосунком!.. Или Катырю скажешь? Так тот же глуп, всего боится!

– Во-во, а ты – храбрец! Хм! – хмыкнул Басманов и смерил его колючим взглядом. Он ещё мог снести что-то от князя Василия. А вот младшим его братьям, Андрею и Ивану, которые были всего-то войсковыми головами, он уступать не хотел. Тут всё внутри у него бунтовало.

Князь Василий прищипнул на взъерошившихся петухами братьев и просительно забубнил:

– Пётр, не спеши выслужиться у Годуновых. Попомни моё слово – подстригут они тебе бороду, подстригут!.. Дверь же моя всегда открыта для тебя, – по-дружески обнял он его и налил ему очередную чарку водки.

После этого разговора прыти у Петра Басманова, правнука Данилы Андреевича Плещеева, по прозвищу Басман, убавилось.

А на Егория внешнего из Москвы пришёл гонец с новой разрядной росписью. И Катырёв собрал у себя воевод, а дьяк зачитал роспись: «А под Кромами быть боярам и воеводам по полкам: в большом полку князь Михайло Петрович Катырёв да боярин Пётр Фёдорович Басманов, в правой руке боярин князь Василий Васильевич Голицын да князь Михайло Фёдорович Кашин, в передовом полку окольный Иван Иванович Годунов да боярин Михайло Глебович Салтыков, в сторожевом полку боярин Андрей Андреевич Телятевский да князь Михаил Самсонович Туренин, в левой руке воевода Замятня Иванович Сабуров да князь Лука князь Осипов сын Щербатой. Писана на Москве лета 113-го апреля 18 день».

– А роспись сия дана в приказе Сыскных дел, за печатью Семёна Никитича Годунова, – сказал дьяк и свернул грамоту.

Новая роспись оказалась неожиданной для всех. Растерялся и Катырёв, не зная, что там творится в Москве, если шлют сюда такие грамоты. Но он точно знал, что сейчас войско захлестнёт волна местнических тяжб. Тут уже будет не до осады, не до штурма.

По росписи Семёна Годунова сторожевой полк переходил к его зятю, князю Андрею Телятевскому. Пётр Басманов, оказываясь вторым воеводой у Катырёва, откатывался по «лестнице» на одно место ниже Телятевского.

Замятню Сабурова эта роспись тоже ставила ниже Телятевского на одно место.

– Михайло Петрович, уволь меня от таких грамот! – возмутился тот. – Что там Сёмка пришлет завтра, одному Богу ведомо! Вон Михайло Кашин верно делал, отказал списку!

Не ожидал такого хода от своего тестя и Телятевский.

– Товарищи, не надо так, сгоряча-то, – стал унимать Катырёв воевод. – Пошлём на Москву грамоту. Пусть Разрядный даст тому добро или откажет...

Василий Голицын бросил красноречивый взгляд на Басманова и слегка усмехнулся, как бы намекая: вот видишь, а ты чтишь милости Годуновых – они же отдали тебя на откуп своему зятюшке...

– Да что же это такое! – воскликнул Басманов, потемнел лицом под насмешливыми взглядами Голицыных, понял, каким дураком выставляет его эта годуновская грамота. А он, глупец, ещё верил им. И это больнее всего задело его. – Михайло Петрович, отец мой точно был на два места выше отца князя Андрея!.. Семён выдал меня головой зятю! Срамота роду Басмановых от меня! Потерька!..²⁷ Лучше смерть, чем позор! Как смотреть в глаза людям-то?!

– Пётр Фёдорович, грамоту отпишем... – беспомощно повторял Катырёв одно и то же. – В Разрядный приказ, к царице с государем...

– Ты Сёмке ещё отпиши! – сорвавшимся голосом выкрикнул Басманов. – Одна порода там!

– То неправду затеял Семён, лукаво, раздорно ставит войско... – лепетал всё то же Катырёв, не представляя, как и уговаривать воевод.

Но Басманов, не слыша его, упал на стол, закричал, что его бесчестят перед всем миром:

– То Семён нарочно умыслил! Завидки его берут, что Петька Басманов принёс государеву делу великий прибыль!..

Успокаивая, Голицыны увели Басманова из палатки Катырёва. От большого воеводы тот ушёл совсем другим человеком и сделал шаг туда, куда его подталкивали Голицыны. В сердцах он поклялся переловить всех воевод и повязать. Но его замысел собрать у себя их всех и разом арестовать провалился. Князь Михаил Петрович был настороже. Он не доверял Голицыным, тем более Басманову, и на приглашение того приехать к нему в полк на совет не поехал. Велел он то же самое сделать Телятевскому и Кашину, послал предупредить и Сабурова. Тому, однако, было не до совета – лежал больным. Ивана Годунова предостеречь не удалось, он попал в руки мятежников, и его потом выдали царевичу.

А события в лагере разворачивались стремительно. Масса конных и пеших, рязанских и тульских сотен, подбитых заговорщиками на измену, ринулась к наплавному мосту, чтобы пробиться на соединение с гарнизоном крепости. И в одно мгновение были сметены охранники Ляпунова. Лодки не выдержали огромной тяжести, и мост накренился. В воду, пихаясь и сталкивая друг друга, полетели кони и люди.

С другой стороны реки, сквозь эту толпу, к мосту прокладывали себе путь донцы Корелы. За ними следовали путивльские сотни.

Зарудский пробился через мост и ворвался с казаками в стан передового полка... «Бог ты мой!»... А там творилось что-то невообразимое: пылали обозы и палатки, подожжённые заговорщиками для большей паники. На базаре же с криками и пальбой дрались боярские дети с посохой²⁸ и волостными мужиками... Мечутся, снуют люди... «Туда, туда! Там Годуновы!..»

²⁷ Потерька – потеря, утеря, урон чести (места) по местнической «лестнице». «Лестница» – руководство к определению отношений старшинства между представителями знатных родов или между князьями церкви и монастырями.

²⁸ Посоха – повинность тяглого населения в Русском государстве поставлять с сохи, как окладной единицы, определённое количество людей на войну, а также на государеву или общественную работу (городское строительство, строительство мостов

Другие бежали с криками куда-то в иную сторону... А тут ещё донцы!.. «Измена!» – разнёсся вопль... Опасаясь избиения, служилые стали вскакивать на коней, да падают, но снова вскакивают... Быстрее, быстрее, лишь бы унести ноги из мятежного лагеря... А донцы погнали их, нещадно полосуюя плётками, но и помня наказ Корелы – не рубить служилую мелкоту.

К вечеру лагерь покинули все, кто остался верен присяге. Катырёв и Телятевский увели с собой большой полк. Устояли от измены пушкари Василия Сукина. Ушёл и Михаил Кашин с суздальскими и новгородскими ратниками полка правой руки: они не подчинились Василию Голицыну. Полки бросили обоз и пушки и устремились к Москве налегке. Среди других бежал к Москве и молодой стольник князь Дмитрий Трубецкой, голова в полку Телятевского. С большим полком удирал и его приятель Ванька Катырёв, который состоял тоже головой в полку своего отца, князя Михаила Петровича.

Василий Голицын, предусмотрительно повязанный дворовыми холопами на случай провала заговора, сбросил с себя верёвки и сразу отправил в Путивль своего брата Ивана – бить челом царевичу. Оттуда под Кромой с Иваном прибыл окольный Борис Лыков, а с ним, не отставая от него, Гаврила Пушкин. И Борис Лыков тут же, не мешкая, привёл служилых к присяге великому князю Димитрию Ивановичу.

Из-под Кром войско выступило уже по новой росписи. В большом полку теперь шли Василий Голицын и Борис Лыков. В полку правой руки первым воеводой был князь Иван Семёнович Куракин, а в товарищах у него князь Лука Щербатый. Передовой полк повёл Пётр Басманов. Он отстоял всё же свою местническую честь – в обмен на Годуновых. При нём вторым воеводой был Алексей Долгоруков. Полки царевича двинулись к Москве. Сам же он, царевич, Отрепьев Юшка, наученный опытом неоднократного бегства – хорошо научили, – к своему войску не спешил. Он держался вдали от него, за день перехода. Вместе с ним шёл небольшой отряд польских гусар, остававшихся при нём в Путивле, и его два верных капеллана. И посмеивался он, самозванный царевич, над московскими боярами: те всё сделали за него, своими руками порушили государство и войско тоже...

А вот и совет бояр царевича. И царевич издаёт указ о долгожданном распуске полков на отдых. И по дороге на Москву его войско растаяло, растеклось ручейками по волостям, по просторам Русской земли.

На Оке, под Серпуховом, служилые государева двора заслонили путь на Москву остаткам войска Голицына. И оно остановилось, раздираемое внутри шатостью, неспособное выиграть сражение даже у крохотного отряда дворян, преданных государю Фёдору и царице Марии.

И снова царевича выручили казаки. На Иванов день Корела обошёл с донцами московский заслон и направился к столице по Коломенской дороге. Вместе с ним из лагеря ушли Гаврила Пушкин и Наум Плещеев с грамотой царевича к жителям столицы: донести до них, недоверчивых, что все понизовые и заокские города уже поддались царевичу Димитрию.

* * *

Донцы подступили к стенам Москвы, смешавшись с красносельскими мужиками. Стражники у ворот Деревянного города поздно сообразили, что за мужички так дружно шагают на базар огромным числом подле возов... Казаки навалились на них, оттеснили от ворот, разоружили, строптивых тут же прикончили... У Сретенских ворот повторилось то же самое. В Белом городе донцы разделились. Корела велел Заруцкому охранять и провести до Лобного места Пушкина и Плещеева. Сам же он с казаками кинулся по тюрьмам, где томилось много людей, подходящих для мятежа.

У Никольских ворот Китай-города остановить донцов было уже невозможно. Они обросли огромной развесёлой толпой. И она шумно и дерзко катилась по улицам вместе с ними. Десяток бирючей громко, зазывно скликали московских людишек послушать великую правду царевича Димитрия. Толпа пронесла Пушкина и Плещеева по Никольской, затем через Верхние торговые ряды, Красную площадь и выбросила на Лобное место, на остатки бывлой народной вольницы. Туда, где Гаврила Григорьевич оказался впервые в своей жизни: на виду у всего московского мира... И когда снизу, от беспокойного моря голов, на него дохнуло жаром, гулом и бранью, он стушевался, по его лицу покатился струйками пот.

Поддержал его Заруцкий. Он поставил донцов вокруг Лобного и кивнул ему головой, дескать, давай, валяй...

И Гаврила Григорьевич стал давать, громко читать послание царевича, дрожащим, с хрипотцой от волнения голосом, неестественно жестикулируя:

– От царя и великого князя Димитрия Ивановича всяя Руси боярам нашим, князю Фёдору Ивановичу Мстиславскому, да князю Василию да князю Дмитрию Ивановичу Шуйским, и всем боярам, и окольничим, и дворянам большим и стольникам... И как, судом Божиим, отца нашего великого государя царя и великого князя Ивана Васильевича всяя Руси не стало, а на Российском государстве учинился брат наш, великий государь и царь и великий князь Фёдор Иванович всяя Руси, и нас, великого государя, изменники наши послали на Углич, и... изменники наши вещали, будто нас, великого государя, не стало... целовали крест изменнику нашему Борису Годунову, не ведая его злокозненного нрава и боясь того... А ныне мы, великий государь, на престол прародителей наших, великих государей Российских, идём с Божьей помощью вскоре... А изменники наши, Марья Борисова жена Годунова да сын её Фёдор, о нашей земле не жалеют...

Вполуха слушая голос с Лобного, Заруцкий вызывающе поглядывал на московских чёрных людишек. А те пытливо косились на него, на то, как он, подбоченившись, загородил вход на Лобное. Он был, как всегда, разодет: в тёмно-синем кафтане, в розовой рубашке, добротных сафьяновых сапогах, снятых с убитого боярского сына, и в лихо заломленной на одно ухо шапке с собольей опушкой. Всем своим видом, осанкой и нахальным взглядом красивых голубых глаз, он тянул не иначе как на стольника. А его донцы, ожидая драки, напряглись. Плечом к плечу заслонили они своего Кузю, которого прижал к себе Бурба, не пуская к толпе, куда тот зачем-то рвался с горячечными глазами на измождённом лице.

– Да не держи ты!.. – отталкивал и отталкивал Кузя его.

Из толпы на Лобное полетели угрозы, свист и улюлюканье.

«Сбросят, ох сбросят!» – заныло в груди у Гаврилы Григорьевича. Он был уже не рад, что сам напросился донести до московских людей эту чёртову грамоту самозваного царевича...

В этот момент из Спасских ворот во главе большой группы дворян вышли и решительно направились к Лобному два человека. Один из них, невысокий ростом и полный, в маленькой простой посадской шапке, едва прикрывающей его большую лысую голову, был Василий Шуйский. Рядом с ним вышагивал думный дьяк Афанасий Власьев, уже в годках, с землистым лицом хитрой приказной крысы. Они в окружении боевых холопов подошли к толпе. Холопы растолкали людишек, и они прошли к Лобному.

Заруцкий загородил было им дорогу. Но Шуйский, мельком скользнув равнодушным взглядом по его статной фигуре, с силой отпихнул его, как какую-то никчёмную помеху, попавшую ему на пути. А боевые холопы тут же оттеснили атамана ещё дальше от ступенек Лобного.

У Заруцкого всё вскипело внутри, и он двинулся на Шуйского... Но толпа, огромная, зашевелилась и стала сжиматься вокруг них, казаков... И он, обозлённый, сдержал себя, понимая, что толпа раздавит и его и казаков, если он замахнётся на этого знатного московского боярина, любимца посадских...

Шуйский с Власьевым поднялись на Лобное и бесцеремонно подвинули в сторону Пушкина и Плещеева. А те, смущаясь чего-то, безропотно уступили им место.

– Отчего волнуешься, люд московский! – зычно бросил в толпу Власьев. – Что не по нраву?! Или дел на торгу нет?! Или богато зажили?! Что попусту день-деньской криком изводите? Глянь, как солнышко-то печёт!.. Тут торгуй да торгуй! Дело прибылью гони! Собирай алтынники да полушки!.. Негоже сорочины государевы осквернять небогоугодным делом! Кто-то подбивает на воровство вас!..

– Годуновых сюда! – отозвались, закричали из толпы. – Пусть ответ держат! То ли верно, что царевич пишет!? Бельского давай! Он скажет всё! Истинно, как на духу!..

Шуйский замахал руками, призывая к тишине, чтобы думный дьяк мог говорить дальше. Сейчас вся надежда была на его искусство заговаривать народу зубы: ублажить его, унять. Потом уже отловить воров, что кричат за царевича...

Но тут со стороны Варварки послышался какой-то шум, крики. Донцы сгруппировались, готовые дать отпор боярским детям. Однако оттуда вывалилась огромная толпа оборванцев, а впереди неё на коне ехал Корела.

Ах, чёрт! Ах, Корела, Корела!..

И у Заруцкого от вида Корелы словно выросла сзади крепостная стена. И он, взвинченный, бросился с казаками на боевых холопов Шуйского, горя желанием подраться... Весь смак, все карты ему смешал Кузя. Это же надо – убогий! Он вырвался от Бурбы и, размахивая руками сермяги, из которой торчали безобразные культипки, взметнулся на Лобное. Надрывно, петушком, закричал он, чтобы народишко послушал его, безвинно пострадавшего от государственной тесноты, что заставила его сойти на украинную землю, а там попал к крымцам и не по своей воле был покалечен...

Вид убогого на Лобном ударил по нервам людей сильнее искусных словес велеречивого думного дьяка. Толпа заволновалась, возмущаясь и требуя к ответу Годуновых. И Шуйский с Власьевым поспешили убраться с Лобного. Убегая назад в Кремль, князь Василий крикнул стражникам, чтобы немедленно опускали на воротах решётку.

Но события на площади разворачивались так стремительно, что у ворот никто не успел ничего сделать.

Грамоту Гаврила Пушкин дочитывал уже под сплошной гул толпы. Стараясь перекрычать её, он сорвал голос, дохрипел последние слова, когда его уже никто не слушал, скатился с Лобного и затерялся в толпе.

С площади толпа хлынула к Спасским воротам, ломая всё на своём пути и вооружаясь чем попало. По Торговым рядам прокатилось смятение. Как перед грозой, закрываясь, захлопали двери и окна лавок. От патриаршей избы, деревянной, убогой, приткнувшейся к собору Василия Блаженного, разбежались безместные попы, торчавшие подле неё целыми днями с надеждой перехватить какой-нибудь заработок духовной службой на дому у набожных московских жителей. За ними со Спасского моста исчезли и площадные дьяки.

Толпа разогнала у ворот стражу и двинулась к царскому терему. Царица Мария с сыном Фёдором бежали из дворца и укрылись в домах московских жильцов. Из дворца бежали и наёмники во главе со своим капитаном Маржеретом. Они бросили дворец на разграбление, забыли клятву, данную Борису Годунову: охранять его самого и его семейство.

А через несколько дней вдова Бориса Годунова и его сын были убиты. И на Москве воцарился царевич Димитрий, Юшка Отрепьев, Расстрига, Вор...

Подошла осень. Заруцкий собрался уходить на Дон. И на прощание с Москвой его куренники закатали пирушку своим войсковым атаманам. Они набились в кабаки на Солянке и зашумели, пропивая без оглядки великое государево жалованье, полученное от царевича за добрую службу. Оно свалилось на их бедовые, неготовые для этого головы.

– Добил всё-таки челом государю Смага! – криво усмехнулся Постник Лунёв, обескураженный тем, что Смага опять обставил его, простачка. Он-то шёл с Дмитрием, почитай, от границы до самой Москвы, месил грязь, терпел стужу, голод. А тот пришёл к царю с войском уже под Тулу и присягнул ему на верность. За это и получил от него подтверждённую грамоту верховного атамана над всем Донским войском.

Лунев был уже в годах, старше всех донцов в этом походе. Сутуловатый на вид, с густыми сросшимися на переносице бровями, он выглядел крутым, хотя таким по натуре не был. На Дону он был заметным атаманом, немалым. Что скрывать-то, делил власть только со Смагой, дышал тому в затылок, в каком-то беге, пристёгнутый к нему, как вороной в цуге: ни взад, ни вперёд, зажатый упряжью, как удавкой. Силился рвать построики – и не мог. Всё что-нибудь да держало. И вот только теперь, под конец этого похода, он скинул удила – наострился на Соловки.

– Хитёр! Тому крест целует, кто на Москве сидит, – пьяно, недовольно процедил Корела; он был весь жилистый, как витой сосновый корень, оправдывая всем своим видом прозвище.

В его голосе Заруцкий уловил нотки осуждения верховного атамана, льстивого, пронырливого... И откуда такие на Дону-то?

– Хо-о! Что за последки! А чтоб вас!.. – выругался Корела.

Он хотел было закусить, взял окорок, но в руках у него оказались лишь остатки, голая кость.

Казаки виновато посмотрели на него... Рядом за столом о чём-то забурчал Бурба, громко, заливисто, щенком-первогодком, засмеялся Кузя...

Заруцкий покосился на них, обнял за плечи Корелу:

– Да шут с ними! Пойдём-ка, Андрюха, на Дон, а?

– Не-ет!.. Туда не-ет! Нет мне дороги назад! – отбросив в сторону кость, замотал головой Корела. – Вот и он уходит, – толкнул он в бок Лунёва. – На Соловки!.. Меня зовёт. Пора-де и грехи замаливать, ответ держать за погубленные души. Да уж много молиться-то надо! Ох, много!.. Корела подохнет тут, в кабаке, как собака! Нет, нет!.. И не надо мне прощения! – пьяно выкрикнул он и грохнул по столу кулаком так, что подскочили тяжёлые деревянные кружки и заозирались на казаков за соседними столами ярыжные, предостерегающе хмуря низкие лбы.

– Покайся, Андрей, покайся, – стал увещевать его Лунёв. – Тут же деньги-то пропьёшь. Положи в монастырь – за донцов. Пусть хоть кто-нибудь помянет их добрым словом... При жизни-то только били, поносили!

– И то дело говоришь! – полез целоваться Корела к нему, затем бросил его и повернулся к Заруцкому. – А ты, Заруда, иди отсюда!.. Лютый город! На волю иди! Поклонись Дону от Корелы. Атаману-де, скажи, люб он! Но не дойти ему до него, до батюшки!

Он по-детски шмыгнул носом и прислонился к нему: «Всё пошло кругом... Ох, пошло!»

– Мы с тобой, атаман! – вдруг пронзительно вскрикнул Кузя, разрыдался, упал на грудь Бурбы и запричитал:

– До Ерусалима, до Гроба Господня дойдём!..

До глубокой ночи гуляли казаки, пока наконец-то кабатчик не выгнал их.

– Давай держись! Вставай, вставай! – поднял Заруцкий из-за стола изрядно захмелевшего Корелу. – Сейчас на постоялый, а поутру до дома!.. До станицы!

Казаки гурьбой вывалились из кабака на тёмную улочку. Кузя затянул песню, её подхватили. И над деревянными рубленками по узкой сонной улочке понеслась лихая казацкая песня, широкая, как степь осенней порой, хватая тоской за душу от горечи на злую судьбу вечного скитальца, бродяги-казака.

* * *

С Москвы на Дон Заруцкий вернулся поздней осенью и зазимовал в станице. После московского похода тесно и скучно показалось ему в родном курене, поэтому, как только подули тёплые ветры, он ушёл на Волгу. Но и на реке было так же скучно, как и в станице. Грабить трусливых купчишек теперь стало неинтересно. И атаман начал явно киснуть. Но как-то раз на одном из отловленных стругов людишки поведали казакам великую молву: на Москве-де убили царя Димитрия, и там-де сейчас на царство сел Шуйский... За такую новость Заруцкий помиловал купчишек: отпустил их с миром и всем добром. Сам же, не дожидаясь конца загонного лета, он ушёл на Дон. Но сидеть на Дону, взбудораженном слухами о московских событиях, он не стал. Осенью он уже был в Путивле, привёл в войско Болотникова с собой казаков вместо Корелы. Тот же затерялся и без следа сгинул где-то в московских кабаках. Его там, по слухам, отловили сыщики Шуйского и втихомолку удавили пьяного... Не прощал Василий Шуйский никому страха своего...

Болотникова в Путивле уже не было – он выступил к Москве. Заруцкий бросился за ним и догнал его под Кромами. Вновь оказался он в памятном для него месте, где ползал по грязи и жрал мороженую кобылятину в осаде вместе со своим старым атаманом... «Эх! Корела, Корела!» – всколыхнулось у него; роднее родного брата стал тот для него.

Болотников подошёл под Кромы на день Преображения Господня и оттолкнул от крепости передовой полк Бориса Лыкова и Якова Барятинского. Не устоял против него и большой полк Юрия Трубецкого. Сторожевой полк князя Григория Ромодановского отступил за передовым – и полки бежали, и много вёрст их преследовали мятежники... Прослышав об этом бегстве, снялся и ушёл от Ельца со своим полком Иван Воротынский: при одной только вести о приближении ещё одного войска мятежников под началом Истома Пашкова. По дороге на Москву ратники разбежались по домам, и полки исчезли прямо на глазах у воевод. И те, боясь опалы, отъехали в свои вотчинки, чтобы не показываться перед глазами вспылчивого царя. В Москве же поднялась тревога. Василий Шуйский срочно разослал по волостям указ о «большой посохе», стал собирать новое войско. И когда Болотников подошёл к Калуге, там его уже ожидали свежие государевы полки.

Мятежники расположились станом в устье Угры: на другом её берегу, в трёх верстах от лагеря большого воеводы Дмитрия Шуйского. В том же лагере с князем Дмитрием стоял его младший брат Иван с передовым полком. Вместе с ними пришёл и командовал конным полком боярских детей юный племянник царя, князь Михаил Скопин-Шуйский, впервые участвуя в таком походе.

Болотников перешёл Угру и навязал Шуйским сражение. Царские полки не выдержали натиска его армии и отступили от Калуги, отдавая с её падением все заокские города в руки восставших. Болотников двинулся дальше и на реке Лопасне завязал бой с полком князя Василия Кольцова-Мосальского. Тот потерпел поражение и тоже откатился, оставив поле боя победителю.

Василий же Шуйский вызвал своего брата, князя Дмитрия, в Москву, в царский дворец, и там в гневе наорал на него.

– Бездарь! Дурак! С кем справиться не мог! С холопом!.. Михайло, юнец, воюет лучше тебя! Уходи, уходи! – замотал он головой, как от зубной боли. – Пойдёшь вот под него, поучишься!

Мысль, вроде бы сказанная сторяча, его же самого и осенила. И он, подумав, всё же поставил указом во главе большого полка своего юного племянника, подчинил ему полки своих братьев и полк Мосальского.

Новое столкновение войск произошло на Пахре. И там, на берегах тихой глинистой речки, девятнадцатилетний Скопин-Шуйский состоялся как полководец: в открытом сражении Болотников был разбит, его войско бежало с поля боя и засело в лагере за телегами и рогатками. Из предосторожности князь Михайло не стал штурмовать его. К тому же разъезды донесли ему, что на Коломну прорывается другая группа восставших с Истомой Пашковым, а за ним шли взбунтовавшиеся рязанские и тульские полки Прокопия Ляпунова и Григория Сумбулова.

Потерпев поражение, Болотников понял, что имеет дело с опасным противником, и больше не стал искать судьбу в открытой схватке с юным полководцем. Оба войска простояли друг против друга на берегах Пахры два дня. Каждый из полководцев зорко следил за другим и не решался делать первым шаг. Затем Болотников отошёл назад на один дневной переход, а князь Михайло двинулся на соединение с Мстиславским, который выступил против Пашкова.

Болотников несколько дней стоял на месте, раздумывая, куда двигаться дальше. И вот в один из таких дней Заруцкий приехал к нему в стан и там у его шатра столкнулся с Ляпуновым.

– А-а, Заруда, и ты здесь! – узнал его Прокопий и быстро заговорил, глотая слова и прищёптывая ему на ухо, но так, чтобы слышали все окружающие: – Побили вас, побили! Ха-ха! Кто побил-то?! Мальчишка! Ха-ха! Эх вы – казаки!

Заруцкий вспыхнул от обиды за казаков. Но Прокопий по-свойски подхватил его под руку, растолкал у входа воевод и атаманов и протасил вперёд всех в шатёр к Болотникову. Он был, как всегда, деятелен, быстро решал всё на ходу и снова тут же всё менял: беспокойный, пылкий, суетливый... На совете он о чём-то пошептался с Пашковым и Сумбуловым, и те упёрлись, не согласились идти под начало Болотникова. После жестокой трёпки, устроенной Болотникову Скопиным, за того стояли только атаманы. Да и у тех пропал напор. И земцы взяли над ними верх. Объединённое войско, ещё не соединившись, распалось. И на Москву все двинулись врозь, каждый по себе.

24 сентября 1606 года, накануне дня Сергия Радонежского, Болотников подступил к Москве и расположился лагерем в Коломенском. Всё в том же Коломенском. Уж больно любили все, кто бы ни шёл на Москву, этот живописный расчудесный уголок. С высокими обрывистыми берегами и островками на Москве-реке, это место, окружённое с трёх сторон изгибом реки, представляло собой надёжное естественное укрепление... Подошли и путивльские сотни Пашкова и Григория Беззубцева. А там подтянулись рязанские и тульские полки.

Так началась долгая, двухмесячная осада Москвы. Через полтора месяца на помощь Москве прорвалось смоленское ополчение. Прикрывая его подход, Скопин вышел с полком за стены города и стал подле Данилова монастыря. А на следующий день он дал всеми своими силами сражение восставшим. Подняв конницу Болотникова, он гнал её до самого лагеря, жестоко рубил и буквально втоптал в него. С наступлением сумерек, чтобы не попасть в ловушку, он увёл свои полки назад за стены города.

Это поражение, а тут ещё тайные царские агенты, шныряющие повсюду, привели к тому, что лагерь мятежников стал расплываться, как ледяная избушка весной. Ляпунов раньше других почувствовал слабость дела, в которое ввязался, и согласился привести рязанские полки к Шуйскому. При этом он выторговал у него для себя помилование, уломал сдаться на волю царя и Сумбулова. Той же ночью, после Филиппова заговенья, покинул Коломенское и перебежал на сторону Шуйского и Пашков.

И вот наступил для Москвы день, к которому готовились, собирали за стенами силы. Второго декабря Михайло Скопин вышел с большим полком из Серпуховских ворот и направился в сторону Коломенского. Из Яузских ворот выступил с полком Иван Шуйский и тоже двинулся на Коломенское, но по другому берегу Москвы-реки... В сражении под деревушкой Котлы, долгом, тяжком, и каком-то сером и неярком, полки Болотникова были разбиты. Уцелевшие сотни укрылись в своих станах. И ещё три дня казаки Беззубцева держались в сидке за нагро-

мождением из обледенелых саней, политых водой. И три дня их обстреливали из пушек раскалёнными ядрами. И всё-таки заставили сдаться. Болотников же и атаманы донских казаков Ивашка Заруцкий и Федька Нагиба вырвались с невеликим отрядом из окружения и ушли по Серпуховской дороге. За ними пустился Дмитрий Шуйский. Он погнался за вождём мятежников, удачей и славой. Ох, слава, слава племянника, что не давала ему житья, покоя. Он полетел за ней – и угодил в западню. На помощь Болотникову подошли из Калуги отряды служилых и атаковали князя Дмитрия не только с флангов, но и с тыла. И потерял воевода более половины своего полка, бежал к Серпухову, а там был ещё раз потрёпан мятежниками и едва сам-то ушёл живым.

Против Болотникова, осевшего в Калуге, из Москвы был послан с войском Иван Шуйский. Он осадил Серпухов, а под Калугу отправил с полком Никиту Хованского. Затем он взял Серпухов и подошёл к Калуге сам со всем войском. Не в силах штурмом овладеть городом, полки стали лишь отбиваться от вылазок казаков да с ленцой постреливать из наряда – и быстро «замшели». Месяц осады пролетел впустую. И Василий Шуйский сменил воевод. Теперь туда, под Калугу, ушли Мстиславский и Скопин. Новые воеводы, осадив основательно город, начали сооружать гигантский подмёт²⁹ из деревянного вала, намереваясь поджечь им крепостные стены. Но казаки подрыли под него подкоп и взорвали его да подожгли, пустили по ветру красного петуха: огненный пал в сторону царского войска. Устроив так настоящий переполох со стрельбой, Заруцкий стал нагло, прямо на виду у Скопина, гарцевать с донцами... Скачки и развороты!.. «Геть, геть!.. Ы-ых-х!..» Туда-сюда носятся и мельтешат казаки... Хмель удали бился у них в голове... Донцы повеселились и скрылись за воротами крепости.

В это время с украинских городов подошли ещё мятежники и прорвались в крепость. Василий Шуйский положил за это вину на Никиту Хованского и списал его в Москву, а на его место прибыли Борис Лыков и Прокопий Ляпунов с рязанцами. Тот самый Прокопий, старый друг Заруцкого. Приглаживать же за ним Шуйский приставил Бориса Лыкова, такого же, приложившего вместе с Прокопием руку к развалу войска под Кромами – всего лишь за окольничество...

А с Дона в Тулу пришёл с казаками царевич Петрушка, бродяга, казак Илейка назвался царевичем. Вся Волга знает, все это знают. Но в одночасье признали за царевича, сына бедной Ирины Годуновой... Появился там с войском и Григорий Шаховской... Получив такое подкрепление, Телятевский, правая рука Болотникова, двинулся к Калуге. Навстречу ему уже спешил от Скопина отряд с Борисом Татевым. И столкнулись они на речке Пчельне. Телятевский разгромил царский полк, Татев пал в бою, а его воины тут же перешли к мятежникам. Когда это известие докатилось до Калуги, то в войске началось брожение. И Мстиславский со Скопиным, опасаясь бунта, сняли осаду и отошли подальше от своевольного города.

Болотников воспользовался этим и перешёл в Тулу. Так в Туле оказался вместе с атаманом Нагибой и Ивашка из Заруд с жалкими остатками своих старых куренников.

Василий Шуйский не выдержал возни своих воевод с разбитыми мятежниками.

– Как! Не могут прикончить! – кричал он на сидениях в Боярской думе...

Его советники, бояре, сидели и молчали.

– Всё, иду походом сам! – решил он, раздражённый на воевод.

На день Константина и Елены он отстоял молебен в Архангельском соборе, взял в руки лук и копье, сел на коня и выступил сам с государевым полком в поход на Тулу. Вперёд него туда двинулся с полком Андрей Голицын. Против него вышел Телятевский. Но под Каширой он был разбит и с малым числом людей бежал обратно в Тулу. Царское войско заняло Алексин. И тут, вблизи городка, Михайло Скопин столкнулся с отрядом царевича Петрушки. Бой был

²⁹ Подмёт – сооружение для поджога стен крепости.

долгим, всё же с донцами, и жестоким. К Скопину подошли на помощь ещё полки, и Петрушка побежал тоже.

Дорога на Тулу была очищена. И туда стали подходить царские войска, затягивать петлю осады, перекрывать мятежникам все пути с украинских городов. Мстиславский расположился с большим полком на левом берегу Упы, под стенами города. Тут же рядом, по Крапивенской дороге, устроился с передовым полком Скопин. Вскоре возле него оказался «прибылый» рязанский полк Бориса Лыкова и Прокопия Ляпунова. По дороге на север, на Каширу, у речки Тулица, на Червленной горе встал с полком князь Андрей Голицын. Подле него разместился объединённый сборный полк из татар и черемис под началом стольника Петра Урусова. Подошёл с большим нарядом и Григорий Валуев. Он установил пушки как раз напротив крепостных Крапивинских ворот. Не забыл он и противоположный берег Упы, поставил и там пушки. Затем он начал простреливать с двух сторон весь город и не оставил там ни одного двора, куда бы не залетали ядра. За неделю его батарея осточертела осаждённым. И Заруцкий не выдержал, бросился с казаками тёмной июньской ночью в речку, переплыл её и вырезал у наряда прислугу. Разбить же у пушек казенки они не успели: нагрянули стрельцы и выбили их с позиций. Батарея молчала недолго: пушкарей немедленно сняли с других городов и прислали под Тулу. И опять в крепость полетели раскалённые ядра, опять по городу заматались казаки с вымоченными телячьими шкурами, смело бросаясь на шипящие ядра и прихлопывая их, как обучил всех Болотников и как обычно боролись с такими зажигательными снарядами на турецких галерах и каторгах³⁰, где тот прикованным к веслу провёл не один годок своей мятежной жизни.

Тяжело, голодно было в осаде...

Нагиба вошёл с Заруцким в воеводскую избу и добродушно подтолкнул его вперёд: «У Корелы правой рукой был!»

– Нет нужды говорить каков! – сказал Шаховской.

– Знаю, знаю этого атамана! – откликнулся Телятевский. – Ещё под Кромами помню!..

Князь Андрей Андреевич Телятевский был уже не так и молод. Его, боярина, занесла смутная пора к мятежникам, во главе которых встал его бывший боевой холоп Ивашка Болотников. Его дед-то так и проходил до конца своих дней среди малопородных думных дворян. Да и отец тоже не выбился в боярство. И ему досталась в родословие захудалая ветвь тверских князей. Вот выправлять-то её он и подался в опричнину, из-за чего и повязался родством с Годуновыми. Много чего было, много пережито. А вот до сих пор горит борода, за которую его таскали казаки, когда им, мстя по местничеству, выдал его Петька Басманов, когда стал правой рукой Юшки Отрепьева. Вот с тех пор он и закусил удила. И понёс! А куда? Да всё равно куда...

Болотников подошёл к Заруцкому, дружески обнял его за плечи.

– Заруда, надо найти царя. Непременно! Сам видишь – нужна помощь. Долго не высидим. Пойдёшь в Стародуб. Слух прошёл: там, мол, Димитрий объявился!

Он, Болотников, был чем-то похож на него, на Заруцкого, но выглядел тяжелее, массивнее. И его рука была тяжёлая, что Заруцкий почувствовал сразу же, как что-то мешающее, лишний груз на плече.

Болотников взял у дьяка столбец³¹, перетянутый шёлковым шнурком и запечатанный печатью.

– Вот грамота великому князю Димитрию Ивановичу, – подал он её Заруцкому. – Передашь лично в руки царю. И никому иному! Ясно?

– Да, атаман! – ответил Заруцкий, и его голос дрогнул; в его устах «атаман» звучало верной похвалой, уважением умения и стойкости.

³⁰ Каторга – военный корабль у турок.

³¹ Столбец – старинный документ в виде свитка из подклеенных листов.

Болотников понял это, обнял его ещё раз на прощание и подтолкнул к двери: «Иди, атаман, иди! С Богом – до царя!»

– Мы уходим сегодня ночью, – сказал Заруцкий Бурбе, вернувшись от Болотникова в свой стан. – Подбери для этого казаков.

Заметив тоскливое выражение на лице своего старого куренного товарища, он догадался о его причине, ухмыльнулся, хлопнул его по спине: «Да не горюй ты! Найдём тебе ещё убогого!»

Бурба посмотрел на него: жалостливо, злобно – и отвернулся. Переживал он смерть Кузи, убогого. Смахнул того саблей один из боярских сынишек, ворвавшихся в стан под Коломенским, зимой, когда Скопин здорово побил их.

Заруцкий никогда и никого не жалел. Не знал он, что это такое. Вытравили из него её, всю жалость. А вот с Бурбой было сложнее. Привязался он к нему за многие годы удачливой воровской фортуны. И сейчас, чтобы не раздражать его перед опасной вылазкой, он заговорил о деле.

– Болотников велел найти царя. Повезём вот эту штуковину. Возьми, береги пуще жизни, – сунул он ему грамоту, чтобы тот понял, как он доверяет ему.

Бурба взял столбец, повертел в руках, рассматривая чёрновосковую прикладную печать с двуглавым орлом.

– Потом, потом разглядишь! – заторопил Заруцкий его. – Будет время! Беги за казаками! Уйдём до рассвета, пока стоит непогода!

– Куда сейчас-то? – спросил Бурба, пряча грамоту в кожаный мешочек, висевший под рубахой поверх креста.

– Перво-наперво – в Стародуб. Кто-то там Дмитрием назвался. Ну, раз так, тогда он нам и нужен. А если не тот – подадимся в Северу. Андрюшка-то Телятевский верно говорит: сейчас царь любой сойдёт, потом-де разберёмся, кто таков. А ныне народишку нужен колена Грозного. В него только и верят...

Тёмной дождливой ночью в конце августа крохотный отряд донцов покинул стены города, просочившись в вылазные потайные ворота под глухой башней. Казаки крадучись обошли заставы рязанского полка Лыкова и ушли из кольца окружения. Коней Заруцкий добыл этой же ночью, отбив их у зазевавшихся табунщиков своего старого приятеля Прошки Ляпунова. При этом он не упустил, зло позубоскалил с Бурбой, что вот, дескать, наказали того, умного-то.

Вот так и оказался он, Ивашка из Заруд, в Стародубе, у нового самозванного царя.

Глава 4. Поход и первые неудачи

Через неделю после той сшибки на дворе Заруцкого вызвали к царю, в его хоромы. В горнице у царя, когда он вошёл туда, уже были пан Меховецкий, Будило и дьяк Пахомка. Сидел там ещё какой-то подьячий, бочком на лавочке, смущённый такой для него честью.

«Да, тот самый, робкий», – узнал Заруцкий его. Мгновенно схватывал и запоминал он лица, хотя бы и видел кого-нибудь мельком.

Тут же, в горнице, на крохотной детской скамеечке в углу, ютился любимец царя, Петька, шут. Но сидел он тихо, не кривлялся. Он, обычно серый, сейчас пожелтел, как золотушный стал, лицо перекосилось, как будто опечалилась одна его уродливая статья, другая же застыла в ухмылке едкой...

Заруцкий отвернулся от него. За свою, в общем-то, ещё короткую жизнь он уже наглядился на вот таких, с болячками, несчастных и убогих. На них взирал он равнодушно, не устаивал их даже отвращением. Он любил здоровую плоть, его кумиром было тело сильное.

«Опять!» – мелькнуло у него, когда он догадался, что у шута случился очередной припадок.

О том, что шута преследует падучая, знали все, весть разносили шёпотом, опасаясь гнева государя.

Войдя и всё это мгновенно схватив, он поклонился царю: «Государь, ты звал?»

– Садись, атаман! – велел тот ему и жестом показал на лавку, как раз напротив себя, рядом с дьяком Пахомкой, который ходил у него в думных.

Честь эта, как понял Заруцкий, не разошлась с его словами, брошенными вроде бы с азарта после сшибки на дворе.

– По тебе место, и сидеть тебе отныне в моём совете! – сказал Матюшка.

На его гладком, чисто выбритом лице скользнула тонкая улыбка. Он, как оказалось, сбрил почему-то свои колючие усы.

«У того-то ничего не росло! Как у бабы или азиата!» – мелькнуло у Заруцкого помимо его воли о первом Димитрии...

– Рад служить, государь! – отозвался он, приложил к груди руку и по-казацки вольно уселся на то место, куда указал царь.

– Поспешить бы тебе, атаман, на Дон, – теперь заговорил пан Меховецкий; он ведал у царя войсковыми делами. – Приводить вольных казаков под руку царя Димитрия, – наклонил он голову в сторону Матюшки. – Служить государю истинному, природному, за великие оклады! – и снова поклон ему, Матюшке.

– Пахомка, пиши грамоту! – повысив голос, распорядился Матюшка, заметив, что дьяк задремал, ещё не отошёл от вчерашней пьянки.

«Один пьёт каждый день, другой упорно лезет вперёд и поучает, как девку!» – с неприязнью подумал он о Меховецком. Но ничего не отразилось на лице его. Он уже научился держать язык за зубами, скрывать мысли и ждать, ждать своего часа.

В тот день он отпустил атамана. И Заруцкий ушёл со своим крохотным отрядом казаков на Дон.

А на другой день после Дня Акимы и Анны и сам Матюшка покинул Стародуб, покинул без сожаления. Ничто не дрогнуло в его груди. Он покинул его так, как покидает честолюбец свои родные места, желая лишь одного: чтобы забылось всё прошлое его, чтобы он был для людей тем, кем он хочет стать. С ним было войско, правда, небольшое, всего три тысячи всадников: кучка гусар с Меховецким и Будило, служилые казаки из Стародуба и иных городков, где признали его власть. Стрельцов немного было у него. Боярских же детей считал по пальцам он. Но все они, воинственные и решительные, на совете выбрали гетманом пана Меховецкого.

И смело двинулись они на захолустный город окраинной Московии, на маленький и слабенький Почеп. Там встретили их горожане хлебом-солью. А на День Архангела Михаила направились они дальше, к Брянску.

На ночь войско встало лагерем. Матюшке с вечера не спалось. Всё терзали мысли, переживания, сомнения: как встретит его первый большой город... В палатке у него обычно спали два комнатных холопа, каморники, два сторожа его. Он не держал ночью при себе даже шута: тот стал надоедать ему. Но нет, не разлюбил он Петьку, тот веселил его по-прежнему в часы досуга. Хотя всё чаще проводил он время в перебранках с Пахомкой и его бабой Агашкой. Ту присылал тот на ночь к нему. А он не в силах был уже отказаться от неё... И что ни день, то заявляются к нему его полковники. То одно у них, то другое: издай указ, пошли куда-то дьяков и подати немедленно собирай, корма для войска...

– Откуда, государь, возьму я всё это! – хватался Пахомка за голову. – И так отписками одними сыты! Воруют, великий князь, городовые воеводы, верные твои холопы!

Но больше всего любил он гарцевать перед войском: осматривать свои полки на марше...

И только-только он заснул было, как кто-то потряс его за плечо... И тихий голос вошёл в его дремотное сознание, как будто опять притиснулась к нему горячая Агашка, дыханием обдала жарким, невыносимо нежно. И он, привыкший к одним лишь грубостям, перевернулся на спину и потянулся к ней, чтобы ударить...

– А-а!.. Что-о! – вскрикнул он и очнулся, как после обморока. – Иди ты!.. – выругался он, подумав, что это она донимает его своими ласками.

– Государь, государь! – затормошил Пахомка сильнее его, когда он опять чуть было не заснул.

Матюшка открыл глаза и увидел рядом с постелью дьяка со свечкой. А у входа в палатку, у полога, виднелись ещё две или три фигуры. Он узнал своего гетмана, полковников... Он вздохнул, чтобы унять дрожь, ударившую под сердце от внезапного пробуждения, чувствуя во всём теле тяжесть от дальнего перехода. Весь этот день он не слезал с коня. Вместе с Меховецким он носился по колонне из головы войска в хвост, ругался, подгонял отставших. И в конце дня, вечером, еле сполз с седла, плюхнулся на ноги, задрожавшие в коленках, и проковылял до шатра, который уже поставил бараш³² с обозными холопами.

Он поднялся, натянул порты и сунул в сапоги ноги. Запахнувшись в стёганный кафтан, он поёжился от ночной прохлады, что заползала в шатёр, хотя Пахомка отапливал его жаровней. Но кое-как то получалось у него. И, в общем-то, шатёр был сырой и неуютный. Он сел на складной походный стульчик и пригласил всех садиться тоже. Меховецкий и полковники уселись на лавку, к ним приткнулся Пахомка. И тут же оказался ещё какой-то незнакомец, по виду служилый русский. Он тоже сел на табуреточку, но скромно, поближе к выходу из шатра.

– Что у вас? – спросил он ночных гостей, играя недовольным голосом, а больше властью, обращаясь в первую очередь к своему гетману.

– Гонец из Брянска! – показал Меховецкий на незнакомца. – Михаил Кашин напал на крепость: за то, что целовали крест тебе. Сжѐг! Сейчас уже бежит обратно к Шуйскому!..

Матюшка глянул на своего всезнающего дьяка.

«Кто таков?» – прочёл вопрос Пахомка на его лице, но не удивился этому. Его, Пахомку, невозможно было удивить, смутить, загнать в тупик, где не знал бы он ответа... «Ну, у царя, должно быть, пропала память! Бывает!»

– Князь, из рода Оболенских. Воевода, верный слову, клятве, Богу и царю...

Матюшка помолчал, затем уставился на Меховецкого.

– Тебя что – учить, как поступать?! Догнать и наказать! Для этого не нужно поднимать меня среди ночи! Зачем притащили сюда вот этого!.. – выругался он и ткнул пальцем в гонца.

³² Бараш – лицо, ведавшее шатром князя.

И тот поджался на табуреточке.

– Государь, ты же сам велел приходить к тебе по всем делам в любое время, – вибрирующим голосом промямлил Меховецкий, не глядя в сторону Будило и чувствуя, что тот презрительно пялится на него из-за того, что он терпит такое, хотя бы и от царя.

– Выполняй, выполняй, пан Николай! – сбавив тон, снисходительно сказал Матюшка ему. Но желчно всё же сказал он.

Он выпроводил ночных гостей из шатра, дал нагоняй Пахомке, чтобы и тот думал тоже, прежде чем пускать к нему кого-то. Натыкаясь на комнатных холопов, тарасивших на него дремотные глаза, он заходил взвинченным по шатру, чувствуя, что не скоро уснёт. Ещё раз обругал Пахомку, когда тот заикнулся было, что, может быть, прислать ему Агашку.

– Да иди ты с ней к!..

Но наконец он всё-таки улёгся, чтобы хотя бы немного отдохнуть... «Проклятие!..» Завтра опять весь день придётся трястись верхом, гнать с войском быстрым маршем на Брянск.

Но они упустили время. Погоня за Кашиным не удалась. Будило так и не достал его, вернулся к царю. А тот уже расположился укреплённым лагерем в десяти верстах от Брянска, подле Свенского монастыря.

Матюшка встретил его едкими словами:

– Чтоб... твоя Matka Bozka!³³ От тебя ушёл даже Кашин! Вы, поляки!.. Пить горазды да орать, что вот, мол, мы, гусары-молодцы!

У Будило, добродушного Будило, весельчака и забияки, пьяницы к тому же не последнего, глаза полезли на лоб.

– Гусары, Меховецкий и Будило уходят! – через какой-то час после ухода от него полковника доложил ему Федька Гриндин, крутой боярский сын. Он первым из боярских детей примкнул к нему, за это Матюшка сделал его думным дворянином и своим ближним.

– Ну и пускай катятся к...! – обозлился Матюшка и выругался по привычке.

Гриндин ушёл из его шатра. Но вскоре в шатёр бочком протиснулся Пахомка, всё осмотрел, в порядке ли, как обычно делал, следя за царским бытом. Затем он присел на сундук около входа и глухо кашлянул, словно был простужен.

– Ну что тебе? – не выдержал Матюшка его тянучки. – Зачем пришёл?

– Государь!.. Вот это... Не дело так... С кем воевать-то?.. Послать бы надо, за ними... Повиниться...

Пахомка попал в самую точку. Матюшка и так уже раскаивался, что круто поступил с полковниками. Сейчас же и сам хотел, чтобы кто-нибудь уговорил его вернуть гусарские полки.

В шатёр вошёл Гриндин, и тоже вроде бы случайно.

– Ладно! – стукнул Матюшка кулаком о стол, делая вид, что поддался доводам дьяка. – Гони, Федька! – велел он Гриндину. – За этими изнеженными панам! Уламывай, мол, государь то слово крепкое берёт назад и вины свои приносит!

– Слушаю, великий князь! – выпалил Гриндин, расплываясь улыбкой. Он, что таить, уже прочно сошёлся с полковниками, ходил у них в приятелях, надёжней, уверенней чувствовал себя рядом с такими воинами.

И он догнал гусарские полки уже вёрст за тридцать от Брянска, недолго объяснялся с полковниками. Те тоже дали уговорить себя. И он вернулся с ними на следующий же день.

У Свенского монастыря они простояли неделю, затем двинулись на день Покрова в сторону Карачева.

– Коли на Покров лист с дуба не чисто пал, знать, зима будет суровой. Ох, государь, суровой! – трясаясь на коне позади Матюшки, заохал Пахомка, как древний дед, открывший в себе под старость тайны природы.

³³ Матерь Божья.

– Не каркай! – оборвал Матюшка его.

Позади него там же ехал и Петька, влив в седло горбатое и злое тело, и как мизгирь поводил холодными глазами.

– А ну-ка, Пахомка, отгадай! – пристал он к дьяку. – Стоит на одной ноге дурак – на нём колпак, кто мимо идёт, всяк поклоны бьёт! Ха-ха! Кто это?

– Кто, кто?.. Ты!

– Эх, Пахомка! А ещё умный!.. Гриб это!

Они, дьяк и шут, достойные друг друга, вели бесконечную вражду между собой из-за него, из-за царя.

– Перестаньте! – сердито прикрикнул он на них.

Пахомка проворчал себе под нос: «Бог дал попа, а чёрт шута!» – и замолчал.

Под Карачевым Матюшка был приятно удивлён: на службу к нему пришли несколько тысяч запорожских казаков. Они стояли лагерем, большим и шумным, на берегах тихой Снежети-реки. С такими силами он уже уверенно захватил Белёв и направился дальше, к Крапивне.

Крапивна. Дмитрий устроился на воеводском дворе в крепости. А гусары и казаки стали лагерем под городом.

Уже и осень заявила свои права на жизнь, на всю округу.

Меховецкий вошёл в воеводскую избу к царю.

Матюшка же только что встал и выпроваживал от себя Агашку. А та, уходя от него, метнула жаркий взгляд на полковника и пошла, покачивая зазывно бёдрами. Матюшка заметил это и выругался вслед ей: «Ну, ты, стерва, я тебе... покажу, как ...!»

Он захлопнул за ней дверь, подошёл к Меховецкому и покровительственно потрепал по плечу его, своего гетмана, своего «радетеля», как он мысленно окрестил его.

Меховецкий не удивился на эту вольность, но и не подал вида, что это неприятно ему. Он стал побаиваться его... «Только этого не хватало!» – с раздражением всплыло в голове у него как-то раз, но он не знал, что же ему делать теперь-то.

А Матюшка начал одеваться тут же при нём. Он натянул на себя свой старый кафтан, и такой поношенный, что тот же нищий кармелит выбросил бы его на помойку. Затем он подпоясался верёвкой, случайно попавшей ему под руку. Ну, точь-в-точь как крестьянин, когда подтягивает свой зипунишко ветхий.

Он сразу заметил, что гетман обеспокоен чем-то. И этим неспешным одеванием тянул время и видел, что тот изводится от нетерпения. Так он приучал его уважать себя.

Следом за Меховецким в горницу вошёл пан Будило и тоже выглядел серьёзным, что было необычным для него, беспечного, всегда навеселе гусара.

И тут же в горницу ввалился Пахомка. Ему, должно быть, сказала Агашка о гостях у царя. И он с порога забубнил о том, о чём тревожился и говорил всегда не к месту.

– Скорой зимы, государь, не жди! Слякоть, грязь будет до самой Казанской!³⁴ На Лампея³⁵ рога у месяца кажут на полдень!

– Да оставь ты! – отмахнулся от него Матюшка.

– Государь! – заговорил Меховецкий с озабоченным как никогда лицом; таким он становился, если действительно происходило что-то важное. – Тула пала!..

Он мог бы не говорить больше ничего.

– Отступать немедленно! – вдруг прорезался твёрдый голос у пана Будило. – Уносить скорее ноги! Пока им не до нас, не до погони!

³⁴ Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы – 22 октября (ст. стиль).

³⁵ День Евлампия (Лампея) – 10 октября (ст. стиль).

«Как же так!» – пронеслось в голове у Матюшки. Он моментально забыл, что он царь, великий князь. Он был настроен идти на Москву, а тут приходится бежать из какой-то Крапивны... И страх, и жалость, и злость неизвестно на что-то – всё забродило в нём, противилось чему-то, тянуло к тому, что было впереди. Вот только, представлял он себе, нужно обойти Тулу, а там города сдадутся на его милость.

Страх взял своё, тот самый страх. Его, казалось, в нём не было уже давно. С тех пор как он поверил в каббалу, открыл смысл чисел, их тайну, гармонией повеяло нездешней на него, мир ясным стал. Нашёл он в нём и место для себя. Оно по праву его, открытие его, а не какого-то там Меховецкого... Сейчас не знал он, что каббала сулит ему, указывает или какими бедами грозит. Ох! а как это нужно было ему знать именно сейчас, сию секунду, каждое мгновение. Но нет времени разгадывать код тайных чисел. После Сёмина дня он сбился с чего-то и понял, что уже нельзя вернуться опять в начало.

Страх подстегнул их, и его полки бежали из-под Тулы. Скорее туда, на юг, в Орёл, затем и дальше покатались гусары, казаки, а к ним примкнули государевы служилые. Не знали только они, что Шуйский и не думал преследовать их. И там, по дороге, Матюшку бросили «зипунники», всё те же запорожцы, когда поняли, что ввязались в драку, а в ней добычи не видать.

В Орле его войско не задержалось. А город молча встретил их и так же молча проводил. Он ожидал грозы, на испытание готовился. Вот за Орлом они.

Непогода, слякоть, дороги все ужасно развезло. Телеги тонут по ступицу в грязи, обозные лошадки надорвались, не тащат их и падают несчётно.

«Накал, пёс!» – стал злиться Матюшка на своего дьяка, с его приметам.

И в этой мрачной гонке, похожей скорее на бегство, он избавился в какой-то деревеньке от лишних дворовых баб. Обоз облегчил. И среди них первой лишней оказалась его Агашка. Он не прощал измены, малейшего намёка на неё, сам всегда изменчивый, непостоянный.

– А как же я?! – вскричала, уставилась на него Агашка: глаза сухими, злыми были.

– Не пропадёшь! – отрезал он и отвернулся, забыл о ней.

От этого даже у Пахомки, циничного расчётливого дьяка, невольно дрогнуло сердце, когда он увидел лицо Агашки. Та провожала их уходящий обоз тоскливым взглядом собаки, которую прогнали с родного двора...

На следующей стоянке около глухой деревеньки, близ речки Неруссы, его дозорные привели в лагерь разъезд гусар. А следом подошёл целый гусарский полк.

– Самуил, ты ли это?! – воскликнул Меховецкий, увидев во главе этого полка ротмистра Тышкевича. – Какая нелёгкая тебя, дружище, принесла сюда! Ха-ха!

Тышкевич, молодой человек среднего роста, обычной наружности, соскочил с коня на землю и невольно присел на ногах, ослабевших от долгой верховой езды.

Меховецкий обнял его и оглядел, заляпанного грязью, усталого, но крепкого, с весёлыми глазами.

– Здоров, здоров! А я уже вспоминал о тебе!.. А как отец, пан Януш, придёт ли?

Самуил кивнул головой: «Да, придёт!»

И Меховецкий повеселел, впервые за последнюю неделю сплошного отступления, и сразу же потащил его за собой.

– Пойдём к царю!.. Но, чур, не удивляйся ничему. Наш новый царь с причудами! Не то что первый-то! Хм! – хмыкнул он и подмигнул ему по-свойски.

В этот день в шатёр Матюшки набились все начальные люди его войска.

– У меня семьсот гусар и две сотни пехотинцев, – сообщил Тышкевич, когда представился, и всё приглядывался неявно к нему, к Матюшке. Рассказал он ещё и последние новости из Польши. – Сюда на пути с полками Казимирский, Хрустинский и Вильковский. Да всех и не перечесать! И что же? С такой-то силой будем отступать! – насмешливо оглядел задиристый ротмистр полковников.

– А Рожинский собирается сюда? – спросил Меховецкий его.

– Да.

– Грамотку послать бы ему надо, – предложил Будило и почему-то метнул взгляд на Меховецкого.

– Полк, *zwykły*³⁶ к брани, у него есть! – восторженно поднял вверх большой палец Тышкевич. – Государь, не поскупись на грамотку ему!

– И как он? – спросил Матюшка и тоже почему-то взглянул на Меховецкого.

Тот опустил глаза, чтобы не видеть Тышкевича, и заворчал пренебрежительно:

– Похвалы пустой достоин он...

– Да нет же! – вступился Будило за Рожинского. – Нам всем такими быть бы на войне! Пока не распустил он гусар, пошли грамоту ему, государь, – обратился он к нему, к Матюшке, к тому, кому решать, а не Меховецкому же, хотя и гетманом он избран был. – Верю, он придёт к тебе!

Здесь, под деревней Лабушевой, они простояли лагерем неделю. Через неделю к ним подошёл ещё полк пана Валевского наконец-то, того Валевского, которого обещал прислать князь Адам. Меховецкий обнял его, затормошил, высокого ростом, с добродушными чертами лица, обрадовавшись больше других его появлению. Они были хорошо знакомы, когда-то он ходил с ним в походы.

– Мы стоим здесь недавно, а надо же, как повезло! Тышкевич, теперь ты, а может, следом ещё кто-нибудь идёт?

– Ну, ты, сиволапый, не так запоешь, когда узнаешь ещё весточку одну! Приятной, думаю, покажется!.. *Matka Bozka!* Как ты зарос! Бородища, что у москвиты! Ха-ха-ха! Сам архиепископ теперь наложит на тебя епитимию! Ха-ха!

– Да ладно, не тяни, выкладывай, что за сюрприз! Ты притащил сюда самого короля, «Селедку»³⁷? Ха-ха!.. Вот это была бы новость, вот это было б диво! Кхе-кхе!..

– Не-е, не то! Подожди до завтра! Всё сам увидишь, старый Филин!

Его, пана Меховецкого, все, кто знал его близко, звали между собой Филином. Он был похож чем-то на того, и по ночам любил он резаться в картишки с ротмистрами, у которых денежки водились...

Прошло ещё два дня, и, к их удивлению, подошли ещё полки из Польши. А среди них объявился собственной персоной и князь Адам с конными. За ним полк привёл Мелешку, с полком был и ротмистр Хруслинский.

Князь Адам первым делом заглянул в палатку к Меховецкому.

Меховецкий не видел его всего каких-то месяца два и сейчас заметил, каким он стал подтянутым и бодрым. Не то что там, в родовом замке, где был подавлен, апатичен. Нахлынуло что-то на князя Адама после убийства первого Димитрия, и его, впечатлительного, подкосило. Сейчас же он выглядел помолодевшим, был свеж, румян, взбодрился в многодневном конном переходе, проделав в седле весь путь от своего замка до вот этого селения, затерянного в Комаринских лесах.

– Ты что же выпустил-то его из рук! – забрюзжал князь Адам, когда Меховецкий рассказывал ему про войсковые дела. – Что здесь творится-то?!

– Я посмотрел бы на тебя, как бы у тебя-то всё получилось! – съязвил Меховецкий.

Он был раздражён. Его раздражал повелительный тон князя Адама. А теперь и вовсе, когда он стал гетманом и на него смотрело всё войско. Как же, послушаются его гусары, когда увидят, что их гетмана гоняет всякий, кому не лень.

³⁶ Привычный (*польск.*).

³⁷ «Селёдка» – прозвище, данное рокошанами королю Сигизмунду III, шведу по национальности, намекая на традиционный промысел шведов.

– А вот сейчас ты сам попробуй-ка подступись к нему! Хи-хи! – прыснул он коротким смешком прямо в лицо князю Адаму, взирая смело на него.

Они поговорили, погорячились, а ближе к вечеру оба заявили в шатёр к Матюшке.

И там князь Адам повёл себя настороженно и осмотрительно.

Их Матюшка, тот самый мелкий воришка, сидел сейчас в царском шатре и пил вино, красный, распаренный после баньки. Её топили по два раза в день лишь для него, как только объявился он с лагерем около вот этой деревеньки. А подле него, тут же рядом, был его любимец, шут Петька. Тот сидел на ковре у ног его, серьёзным был, не шевелился почему-то.

«А-а, пёс, столбняк хватил!» – со злорадством подумал Меховецкий. Он, как и дьяк Пахомка, недолюбливал шута и повесил бы его давно на дереве, будь то в его власти.

– Петька, а ты почто сник? Тебе бы надо бабу найти! – стал балагурить дьяк и, как всегда, донимать шута.

Петька поднялся с ковра и сделал вид, что намерен посчитаться с ним, но лишь огрызнулся, когда дьяк невольно отстранился от него. Состроив рожицу, он плюнул на ковёр и растёр плевков, демонстративно шаркнув подошвой сапога... Что он хотел показать этим? То дьяк не понял, отвёл от него пренебрежительно глаза... Ох, как же рисковал он, дьяк, умница и интриган! Не принимал он всерьёз шута, за что платил частенько, но так и не задумался над этим. Сейчас же ему, дьяку, здесь не грозило ничего, пока царь доверял ему.

– Прошу, панове, прошу! – раздался радушный возглас царя, как только они вошли к нему в шатёр, вошли вместе с Будило и Тышкевичем.

Меховецкий не решился идти сюда вдвоём лишь с князем Адамом, о чём, как он заметил, Матюшка догадался сразу. И что-то тёмное мелькнуло на лице его, Матюшки.

– О тебе, князь Адам, наслышан много я от пана Меховецкого! Не так ли, пан Николай?... Хм-хм! – усмехнулся он, когда увидел кислую физиономию своего гетмана. – Я буду в милости держать тебя!

Князь Адам хотел было возмутиться. Но Меховецкий легонько задел его рукой, повёл бровями, как бы напоминая о том, о чём предупреждал его вот только что. И князь Адам, смущённо, но всё же поклонился царю, тому воришке, над которым потешался всего каких-то четыре месяца назад у себя в замке, над тем, как тот был похож на кармелита... А тут – на тебе! Царь! И жесты царские, и царская улыбка, величественная, слегка надменная, достоинства полна. И ум откуда-то вдруг появился... Чёрт возьми! Не думал он, князь Адам, тогда, когда принимал в своём замке вот этого Матюшку, что и ему придётся подходить к его руке, почтительно, нагнувши спину... Но подошёл... И уловил он мельком взгляд царя: холодный, и всё те же, навывкате, блестели наглые глаза.

Пришли ещё полковники и ротмистры. И все уселись за стол вместе с царём...

– Господа, – обратился Меховецкий к собравшимся, – нам нужно решить, что делать, куда теперь выступать всем войском. И о зимовке надо бы подумать.

Эти дела были его, как гетмана. И в них он старался не пускать Матюшку, всячески оттеснял. И здесь, на совете, было решено идти на Брянск, где в прошлый раз их уже встречали хлебом-солью.

– Встретят и сейчас! – уверенно заявил Матюшка.

Он переглянулся с Пахомкой, кивнул ему головой, и дьяк выскользнул из шатра. И тотчас же холопы понесли на стол какую-то снедь. Изысканностью и изобилием она не страдала. Её только-только хватало, чтобы перекусить... Да, царский стол выглядел не по-царски: был скудным, однообразным.

Но тут холопы внесли в шатёр бочонок с крепким напитком, и все занялись вином.

Матюшка набрался быстро, сидел бледным и вдруг сорвался, когда князь Адам заикнулся о папе: мол, до Рима уже дошла весть о чудесном спасении его, царя Димитрия...

– Не папа же спас меня! И что мне папа! Для меня каждый поп – папа! – ввернул он ловко подсказанное ему как-то Меховецким.

Он богохульствовал вовсю. Припомнив Божью Матерь, прошёлся он насчёт Христа, не замечая вытянувшихся лиц полковников. И видел он перед собой лишь физиономию князя Адама, который над чем-то посмеивался. А он, в общем-то, изощрялся лишь для него. Он утомился от своих же речей, напоследок заставил ещё плясать Петьку. И тот, выжатый припадком, ещё кривлялся долго горбатым снопом перед гостями.

Глава 5. Рожинский

Март, число 20-е по русскому календарю. Уже поёт капель вовсю, и солнце ярко отражается от белизны кругом. Искрится снег и колет глаз, играет бликами повсюду. Всё повернуло на весну уже, всё ждёт её, красавицу зелёную, когда придёт она и, прихорашиваясь, очистит землю до черноты, а небо до нестерпимой синевы, разгонит облака ненужные.

Рожинский, князь Роман, вёл отряд гусар в две сотни всадников. А впереди разъездом скакали тоже его люди. Аргамак под ним шёл лёгкой рысью, а то переходил на быстрый шаг. Поскрипывало в такт седло, и звякала уздечка, хрустел, кололся тонкий лёд под твёрдыми копытами, и уходила, стремительно стелилась под ноги коня дорога. И всё назад, назад. Кусты мелькали, и деревья, и выбоины на дороге, укатанной санями и схваченной ночными, ещё сильными морозами.

Князь Роман был видным, броским, молодым. Ему и 33 лет от роду не минуло ещё. Но в глазах его уже мелькала скука. Природа одарила его ростом выше среднего, породистым и тонким носом, характером прямым и твёрдым, от войн, походов закалённым. А губы, стрункой, выдавали скрытность; усы, короткая бородка клинышком, словно срисованная с короля, их, польского, теперь вот Сигизмунда III. Он на него старался походить, хотя симпатий к нему он не испытывал. Он в мыслях полагал и в узком кругу друзей не раз всё это излагал: что тому, потомку дома шведских Вазов, чертовски повезло. Ведь претендентов на польскую корону было полным-полно тогда, когда уехал из Польши её очередной король, герцог Анжуйский Генрих, уехал за своей короной. Она досталась по наследству ему. Точнее, он сбежал во Францию, на родину, от поляков, народа своевольного, его дворян кичливых. Бежал он ночью, тайком, едва не завяз в болоте топком. А его подданные, поляки, пустились за ним в погоню, но их король бежал быстрее... И не вернулся он уже в страну, что затерялась на окраине Европы, цивилизованного мира. Она осталась чуждой для него землёй, где всякий мелкий шляхтич сам себе по воле жизнь выбирал, никаких законов не уважал и знать не знал, но твёрдо знал, что он сармат, потомок древних римлян, кровь в жилах голубая у него течёт... Затем недолгим было правление Батория, очередного избранного короля... А вот теперь и Сигизмунд, по счёту третий...

– Войцех! – окликнул он своего поручика, белобрысого малого; тот следовал всегда позади него с гусарами его личной охраны.

Все они, рослые и сильные, крутить умели ловко палашами³⁸. Бой ближний, бой прямой, был их ремеслом. Он их кормил, поил и одевал и на поместья ещё немного оставлял. Так, сущий пустячок: усадьбу или замок воздвигнуть можно было на тот презренный металл, коль выпадала удача на войне.

³⁸ Палаш – холодное оружие с широким прямым клинком, поздняя разновидность меча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.